

1 марта 1887 года

ВОСПОМИНАНИЯ

И. Д. ЛУКАШЕВИЧА

С портретами



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПЕТЕРБУРГ ♦ 1920

Воспоминания о покушении на царевубийство, совершенном 1 марта 1887 года, принадлежат одному из участников, Иосифу Дементьевичу Лукашевичу. По этому делу он, М. В. Новорусский, А. И. Ульянов, П. Я. Шевырев, В. С. Осипанов, В. Д. Генералов и П. И. Андреюшкин были присуждены к смертной казни. Лукашевич и Новорусский получили замену смертного приговора пожизненной каторгой; остальные были казнены 8 мая 1887 года. Лукашевич и Новорусский были заключены в Шлиссельбургскую крепость, где и пробыли 18½ лет.

Воспоминания были написаны вскоре после выхода автора из Шлиссельбургской крепости в 1906 году, но могли появиться в печати только в 1917 году на страницах «Былого». Для настоящего издания они пересмотрены и исправлены автором.

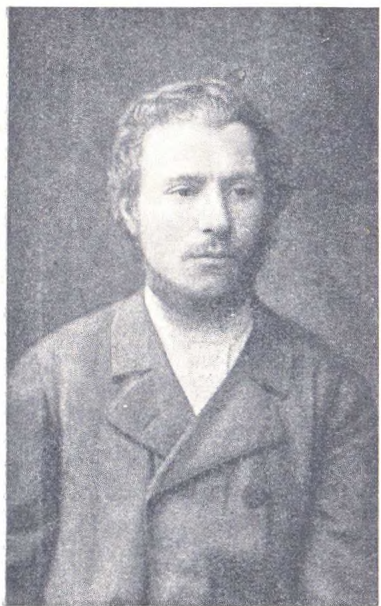
Ред.



АЛЕКСАНДР УЛЬЯНОВ.



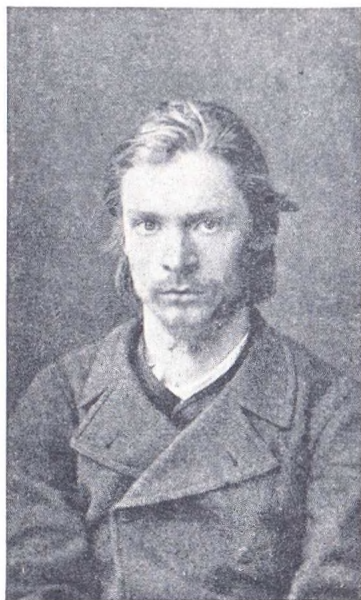
ВАСИЛИЙ ГЕНЕРАЛОВ.



ПАХОМИЙ АНДРЕЮШКИН.



ВАСИЛИЙ ОСИПАНОВ.



ПЕТР ШЕВЫРЕВ.



МИХАИЛ НОВОРУССКИЙ.



ИОСИФ ЛУКАШЕВИЧ.



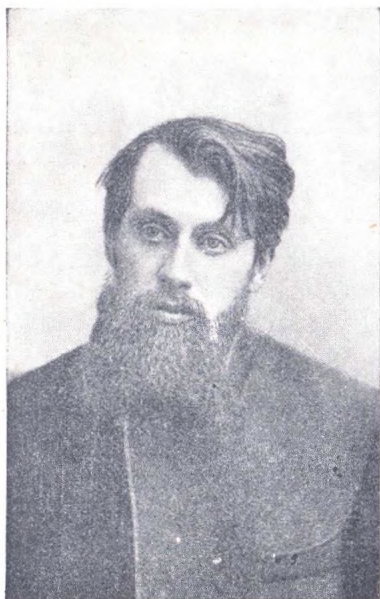
СТЕПАН ВОЛОВХОВ.



МАРИЯ АНАНЬИНА.



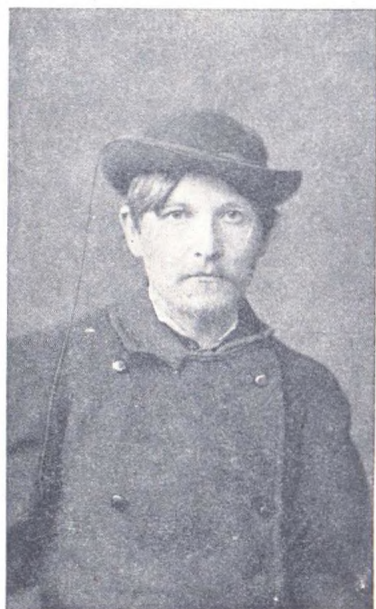
ЛИДИЯ АНАНЬИНА.



ТИТ ПАШКОВСКИЙ.



БРОНИСЛАВ ПИЛЬСУДСКИЙ.



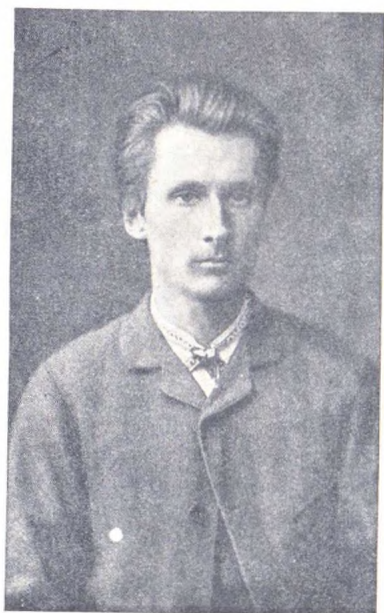
ОРЕСТ ГОВОРУХИН.



РЕВЕККА ШМИДОВА.



ПЕТР ГАРКУН.



МИХАИЛ КАНЧЕР.

Конец 70-х годов и начало 80-х минувшего столетия ознаменованы ожесточенной, упорной борьбой революционеров с правительством. На этот раз правительству, правда, не без чувствительных потерь, удалось разбить революционные организации и отстоять *statum quo*. Наше дело было заключительным, последним актом кровавой трагедии этого периода освободительного движения. В сравнении с теперешним (1905—1906 г.г.) размахом революционного движения наше дело будет казаться незначительным, но на сером фоне второй половины 80-х годов оно является заметным эпизодом, разграничивающим эпоху террористической борьбы от последующего времени более или менее мирной подготовительной пропагандистской и организационной деятельности среди рабочего класса. Прежде чем начать говорить о нашем деле, я скажу несколько слов об обстоятельствах, предшествовавших ему.

Я родился 1-го декабря 1863 г. в имении своих родителей Быковке (Виленской губ., того же уезда). В гимназию поступил в 1875 г. и окончил ее в 1883 г. Учение мне давалось легко, и у меня оставалось свободное время как для чтения, так и для репетиторства. С V класса я уже содержал себя уроками, равно как и во все время моего пребывания в университете. Я всегда любил и люблю природу. Меня очень интересовала химия, и я, уже будучи в IV классе, обзавелся небольшой лабораторией и проделал много различных опытов. Вместе с тем я успел прочесть немало хороших книжек (Фохта, Бюхнера, Леббока, Милля, Джевонса и др.), так что ко времени окончания гимназии у меня уже была подготовка по естественным наукам, в особенности по химии и механике. В VIII классе я познакомился с нелегальной литературой, которая произвела на меня очень сильное впечатление, и я всю душою примкнул к освободительному движению. В это время в Вильно была хорошая библиотека нелегальных изданий, так что я мог иметь все номера «Земли и Воли», «Черного Передела», «Народной Воли», различные брошюры и книжки, запрещенные в продаже, и разные польские нелегальные издания. Осенью 1883 г. я поступил на естественный факультет петербургского университета. Один мой товарищ по гимназии Руткевич сделал попытку, в которой и я принял участие, организовать

виленское землячество. Хотя это предприятие и было доведено до конца, но не имело успеха, так как огромное большинство приезжающих из Вильно—поляки и евреи и поляки вступают в уже существующую Польскую кассу, а потому участвовать в двух однородных организациях для них является излишним.

Тотчас по приезде в Питер я вошел в один кружок для самообразования, в котором были, между прочим, также брат Рехневского, осужденного позднее по варшавскому процессу 28-ми (партия Proletariat), а также Явнишко, арестованный в 1884/5 г. и высланный затем на родину. В этом кружке мы изучали сначала политическую экономию, но вскоре пришли к убеждению, что для России настоятельнее всего разрешение политических вопросов, что нельзя надеяться не только добиться каких-либо существенных экономических реформ в пользу трудящихся масс при деспотическом строе, но даже невозможно всесторонне и свободно обсуждать этот вопрос. Поэтому мы перешли к изучению конституций западно-европейских государств и Америки. Чем больше мы знакомились с государственным устройством цивилизованных стран, тем более проникались убеждением в огромной ценности политической свободы самой по себе. У меня ясно созрела мысль, что публичная власть, власть одного человека над другим, не может быть предметом частной собственности, что социализация публичной власти в еще большей мере необходима, чем социализация орудий производства. Я внимательно следил за деятельностью германской социал-демократической партии и за тем, как в рейхстаге подаются голоса ее представителями по отдельным вопросам.

Нелегальную литературу я получал как польскую, так и русскую, но сам участия в издании не принимал. В 1884/5 г. я пробовал применить цинкографию к печатанию нелегальных изданий, но дело оказалось несостоящим хлопот, так как, во-первых, оттиски получаются в виде рукописи, а не печатные, и, во-вторых, требуется слишком много труда, чтобы получать хорошие цинковые матрицы. Кружком польских революционеров стал издаваться гектографированный, на польском языке, журнал (заглавие его забыл). В нем деятельное участие приняли мои товарищи С-ч и Гомалецкий. Последний по нашему делу был сослан административно в Тобольскую губ., затем вернулся на родину, эмигрировал в Америку, примкнул к анархистам, и сведения о нем прервались.

В 1884/5 г. наш кружок для самообразования потерял одного члена—Явнишко. Именно, на квартире арестованного Иоффе была устроена полицией засада, и тут он был схвачен. Между прочим, у него при аресте найдена моя рукопись о приготовлении нитроглицерина. Чины сыскной полиции доискивались автора этой рукописи, но им в голову не пришло сличить эту рукопись с моим почерком, который у них был под руками: чтобы иметь свидания с сидевшим в предварилке Явнишко, я должен был каждый раз

подавать прошение в охранное отделение (на Гороховой ул.), которое собственноручно писал.

Помню, однажды сидел я в приемной охранного отделения в ожидании разрешения видаться с арестованным Явнишко, как вошел один субъект антипатичной наружности, кривой, с прошением—поступить на службу в сыскное отделение. Дежурный пристав стал его уверять, что все вакансии заняты, но тот настаивал, чтобы его прошение было представлено по назначению, так как у него имеются особые заслуги. Через некоторое время я видел этого субъекта прохаживавшимся вблизи университета. Видно, получил место...

Мне хотелось войти в организацию Народной Воли, но это мне не удалось, так как в это время уже была разбита центральная организация Нар. Воли, и деятельность ее замолкла. Молодежь, представители от различных землячеств (в том числе были Ульянов, Новорусский, я и др.), собиравшаяся для обсуждения, что делать, проектировали организовать союз объединенных землячеств, но осязательных результатов из этих дебатов не вышло. В 1885/6 году я близко сошелся с Петром Яковл. Шевыревым, приехавшим из Харькова. Это был очень энергичный, предприимчивый и талантливый организатор. В это время я был кассиром польской университетской кассы, преследовавшей чисто-филантропические цели—оказывать материальную поддержку несостоятельным студентам. Хорошо познакомившись со мной и обменявшись мнениями насчет необходимости активной борьбы с правительством, Шевырев предложил мне такой план. Сначала будем устраивать полужуегальные организации в роде общестуденческой кассы, студенческой кухмистерской, справочного бюро для приискания работ. В самом процессе этой деятельности мы ближе сойдемся с революционными элементами учащейся молодежи. Это даст нам возможность как соорганизоваться на месте, так и завязать надежные сношения с другими городами, а вместе с тем с расширением круга знакомств сойтись и с другими прогрессивными элементами общества. И тогда уже приступим к делу. Я одобрил этот план. Само собой понятно, что о сокровенных своих планах мы никому не говорили, а приступили к формированию студенческих организаций, которые, будучи сами по себе полезными, могли бы служить для нас подготовительной работой для будущей политической деятельности. Мы начинали дело с пустыми руками. Нужно было не только заинтересовать широкие круги студенчества в наших предприятиях, но и добыть хоть кое-какие средства. Незадолго перед тем я устроил при содействии своих друзей музыкально-танцевальный вечер в пользу осужденных по варшавскому процессу 28-ми. К этому способу я снова прибег, чтобы добыть некоторые средства для наших предприятий. Кое-что я мог уделять из того, что зарабатывал уроками. А затем пошли всякие сборы и пожертвования, и началась деятельная работа по организации студенческой кассы. На этой

стадии закончился 1885/6 учебный год. Считаю не бесполезным привести письмо Шевырева ко мне, от 19-го апреля 1886 г., которое может дать читателю некоторое понятие о нашей деятельности, относящейся к этому времени (в 1887 г. я в ожидании ареста тщательно уничтожил всю переписку, а это письмо случайно сохранилось в деревне среди моих вещей, так как я, уезжая на каникулы, взял его с собою):

19 апреля 1886 г.
Самара.

Любезнейший Лукашевич!

Я к вам с просьбой—я ее просил вам передать Барановского ¹⁾,—не знаю, передал ли он ее? Но на всякий случай еще раз попрошу вас. Будьте так добры, Лукашевич, дополучите деньги со следующих лиц: с Рыбалкина 2 руб. 50 коп., с Власова 2 руб., с Ульянова 2 руб., с Сосновского—4 руб. 55 коп. Кроме этих денег есть еще сомнительные 8 руб. (сомнительные они потому, что неизвестно наверное—были ли они получены во время вечеринки или нет). Получить эти сомнительные 8 рублей можно через Сосновского (конечно, если деньги не были отданы)—напомните ему следующие фамилии—Черкасский и Шваб.

Луценко так и не получил от Миллера ²⁾ денег? Те деньги, которые вам возможно будет получить,—будьте так добры, Лукашевич, передайте их моим сестрам или моему брату (В. О., 9 линия, д. 14, кв. 12): я их просил эти деньги вместе с имеющимися в количестве 82 руб. положить в сберегательную кассу. Затем, Лукашевич, я вас попрошу предложить сборный листок Шишкову, он, может быть, возьмет не один, а несколько, с тем, чтобы дать кому-нибудь из своих знакомых—у него их не мало,—напомните ему, чтобы лицо, которому он решится дать, было, во-1-х, хорошо ему известно, а во-2-х, надеялось что-нибудь собрать; потом можно предложить Власову, Каракашу ³⁾, Маневскому, Ключерову. Если будете предлагать Иорданскому, то предварительно наведите о нем справки. Скажите Луценко, чтобы он сам взял листок и наделил бы ими своих барышень знакомых—у него их не мало, но только пусть постараются побольше собрать. Впрочем, я думаю, излишне говорить вам, кому давать листки: небось, вы сами уже наметили, кому их предложить. Если не хватит у вас листков, то несколько запасных находится у моих сестер. Попросите, пожалуйста, Лукашевич,

¹⁾ Туган-Барановский—ныне известный экономист. *Примеч. авт. И. Л.*

²⁾ Профессор Орест Миллер. *Примеч. авт. И. Л.*

³⁾ Товарищ по университету, позднее профессор. *Примеч. авт. И. Л.*

тех лиц, кому вы будете давать листки, чтобы они приблизительно в середине лета написали строчку о том, с каким успехом идет сбор: это для меня важно. Если последняя просьба не затруднит их, то пусть пишут или прямо мне (по такому адресу: Харь ков, Ры мар с к а я у л и ц а, д о м № 2, Петру Яковлевичу Шевыреву), или же через вас—это уж как вы найдете более удобным. Я на всякий случай захватил с собою сюда 10 листков, из которых 3 успел уже пустить по рукам (разумеется, надежным). Потом, Лукашевич, я просил Агафонова¹⁾ позаботиться о гектографировании устава, а Ульянова о том, чтобы к уставу было сделано приложение, в котором нужно упомянуть о том, что те §§, за которые высказалось большинство, составляют временный устав, и упомянуть также о том, что те лица, которые пожелают принять участие в нашей кассе, подавали бы голоса за то в уставе, с чем они солидарны, и пригласить их высказаться письменно относительно того, с чем они несогласны в нем,—это, понятно, будет принято во внимание при окончательной редакции устава. Вследствие наступивших экзаменов не следует особенно заботиться о распространении устава—экземпляры его нужно сохранить до будущего учебного года для того, чтобы отсутствие их не послужило помехой нашему делу. Наконец, Лукашевич, я хотел вам кой-что сказать о желании некоторых групп студентов завязать сношения с другими университетами, чего и последние желают—об этом, впрочем, когда-нибудь до другого раза: устал писать. В заключение письма я напому вам, Лукашевич, о том, что раньше уже сказал, что я на вас надеюсь больше, чем на кого-либо другого: вы никогда (я в этом твердо уверен) не покинете начатого нами дела (ведь я не ошибаюсь?).

Гречко жму вашу руку.

Шевырев.

«Р. S. Лукашевич, если вам представится удобный случай достать устав какого-нибудь землячества, то воспользуйтесь этим случаем и передайте устав Ульянову.

Р. P. S. Если у вас, Лукашевич, есть записки Бутлерова по органической химии и если вы не рассчитываете летом ими пользоваться, то передайте их, пожалуйста, Ульянову (у меня к вам бесконечное количество просьб!), я и у него прошу их, но записок у него может и не оказаться. У Ульянова же возьмет мой брат для передачи мне.

Как ваше здоровье? Мое довольно сносно. Я не знаю, Лукашевич, ни вашего имени и отчества²⁾, ни вашего адреса, так что несколько затрудняюсь

¹⁾ Ныне литератор, натуралист. *Примеч. И. Л.*

²⁾ В университете мы всегда называли друг друга по фамилиям. *И. Л.*

послать вам письмо, да и вообще не знаю, насколько безопасно посылать их вам? Если вы пожелаете в скорости мне писать, то пишите по след. адресу: Самара, угол Саратовской ул. и Алексеевской, д. Неучевой, Николаю Павловичу Пашковскому для передачи П. Я. Шевыреву».

Некоторые средства были собраны, и с началом 1886/7 учебн. года у нас деятельность вновь закипела. Была открыта нами студенческая столовая. Шевырев получил даровой билет из Думы, при содействии Андреевского (ректора). Но наем помещения и прислуги, мебель и пр. поглотили значительную часть собранных нами денег. Для заведывания кулинарной частью была приглашена одна очень деятельная дама. Кухмистерская у нас сразу хорошо пошла—не только оплачивала текущие издержки, но оставался еще некоторый доход, так что мы могли раздавать известное число даровых билетов на обеды нуждающимся студентам. Когда это предприятие наладилось, то ведение текущих дел было поручено особой группе лиц. Тут Канчер выказал себя очень исполнительным, расторопным и находчивым человеком. Каждое утро дежурные студенты сами отправлялись на рынок для закупки говядины и прочей провизии.

На почве студенческих дел мы сошлись близко с Ульяновым ¹⁾, нашим однокурником, а также и со многими другими лицами, которые принимали затем участие в покушении 1-го марта (1887 г.).

Хотя общестуденческая касса, так сказать, была открыта, но она хирела, так как ни Шевырев, ни я не имели времени заниматься ею. Она, как и вообще всякая новая организация, пока дело не наладилось и не вошло в рутину, нуждалась в постоянном призоре и понукании тех или других лиц, чтобы могла правильно функционировать. Но цель наша была достигнута: мы сошлись, с кем нам нужно было, и Шевырев счел возможным начать террористическую деятельность. Он взялся организовать боевые группы, а я—приготавливать метательные снаряды и по возможности доставлять средства.

Первым нам предложил свои услуги в качестве прямого исполнителя террористического акта один молодой человек С..... Но он не мог удержаться, чтобы не сообщить своим товарищам, что он решил пожертвовать жизнью для общего блага. Вследствие этого из опасения, чтобы он дальше не сказал чего-нибудь лишнего, мы отклонили его предложение и под благовидным предлогом тотчас удалили из Питера в Самарскую или Саратовскую губ. Затем Шевырев сошелся с одним революционно настроенным георгиевским кавалером, который взялся из револьвера застрелить Александра III

¹⁾ Александр Ильич Ульянов — старший брат нынешнего председателя Совета Народных Комиссаров, Ленина.

во время официального собрания кавалеров в Зимнем Дворце. Но в решительную минуту во дворце он опешил, и ничего не вышло. Шевырев тотчас прервал с ним сношения.

Наряду с террором, политические демонстрации мы считали очень важным орудием в политической борьбе и потому агитировали в их пользу. Совокупными усилиями различных землячеств была задумана демонстрация 17-го ноября (1886 г.) на Волковом кладбище, чтобы почтить память Добролюбова.

Между прочим, я взялся собирать деньги на венки. Тут произошел один инцидент, который показывает, насколько было развито шпионство в университете. Я стал собирать деньги в студенческой читальне, и, казалось, были все свои люди—студенты, а между тем был сделан донос инспектору, что идет какой-то сбор. Меня вызвали к инспектору, и тот стал меня расспрашивать, зачем я собираю деньги. Я ответил, что один студент находится в чрезвычайно критическом положении и крайне нуждается в немедленной помощи (я действительно знал такого студента). Инспектор стал доказывать, что лучше из каких-либо других сумм оказать ему помощь, так как всякие сборы запрещены. На это я ответил, что, если у него имеются какие-либо источники, то и превосходно—пусть через Общество вспомоществования недостаточным студентам и передаст деньги этому нуждающемуся студенту. Я раскланялся и ушел. Этот инцидент не имел никаких для меня последствий.

17-го ноября около 10 часов утра собралась довольно значительная толпа народу с венками у ворот Волкова кладбища. Ворота оказались запертыми, и длинная сплошная цепь городских охраняла вход на кладбище. После долгих и бесплодных препирательств с полицией собравшаяся публика запела, подняла венки вверх и двинулась сплошной массой на городских, которые сразу же были напором сдвинуты с места и прижаты к ограде. Тогда полиция согласилась пропустить на кладбище лиц, привезших венки, чтобы возложить их на могилу Добролюбова. Венки, разумеется, были с приличными случая надписями—в роде: «Поборнику прогресса» и т. д. После этого мы задумали толпой пройти по улицам до Казанского собора. Мы двинулись в путь и шли беспрепятственно. Явился градоначальник Грессер и стал уговаривать разойтись или, по крайней мере, обождать, пока он переговорит с кем нужно для нашего пропуска в Казанский собор. Между тем были вызваны казаки. Часть их заскакала нам вперед, часть появилась сзади, отрезав нам отступление. Таким образом спереди и сзади у нас были сплошные цепи казаков, справа высокие здания, слева решетка Лиговского канала, мы оказались арестованными. В таком положении нас продержали довольно долго. Между тем на противоположной набережной Лиговки стали собираться любопытные, и количество их быстро росло. Один мой товарищ, Мандельштам, стоявший рядом со мною,

пожелал вывести настроение собравшейся публики, благожелательно ли оно, или враждебно нам. С этою целью он обратился к ней с такими (приблизительно) словами: «Нас держат здесь долго, мы проголодались. Нельзя ли принести нам чего-нибудь с'естного, что можно было бы перебросить через канал». Тотчас один молодой парень вызвался притащить нам булок. Но не успел он сделать и нескольких шагов, как был задержан полицейскими. После этого были посланы казаки разогнать публику, и когда противоположная набережная была очищена, то по ней казаки стали раз'езжать непрерывно взад и вперед, чтобы не допустить нового скопления публики. Между тем Грессер начал освобождать по несколько человек; он ожидал, пока выпущенные не разойдутся или не удалятся на значительное расстояние, и тогда снова выпускал несколько человек. Эта процедура длилась очень долго, так что до меня дошла очередь только тогда, когда уже совсем стемнело.

В прокламации, выпущенной по поводу этой демонстрации, между прочим было сказано, что следует противопоставить силу правительственной силе—фраза, впоследствии поставленная в вину Шевыреву обер-прокурором Неклюдовым.

После демонстрации административно было выслано довольно много лиц—Туган-Барановский (наш однокурсник), Мандельштам, Абрамович, Вандакурова, Белова, Галкина, Фридман, Мамонтова, Ушакова и др. Эта высылка нанесла ущерб нашим предприятиям. Так, мы рассчитывали на активное участие Мандельштама в устройстве публичных чтений и дебатов по социальным вопросам в университете. Дело в том, что ни я, ни Ульянов не забрасывали своих факультетских занятий из-за различных студенческих предприятий. Напротив, я проходил курсы в еще большем объеме, чем это требовалось. В 1886 г. у нас составилась кружок для изучения биологии, в который входили между прочим Ульянов, я, Туган-Барановский, Олейников ¹⁾ и др. Сверх того, я аккуратно посещал лекции любимого студентами историка Семевского, у которого аудитория всегда была полна. А когда он читал о крестьянских движениях XVIII ст. в России, то не только все скамьи были заняты слушателями, но и прохоцы и окна. Так хотелось уроками прошлого осветить темное настоящее. В свободное время я заходил на лекции и других профессоров. Я также работал в ботаническом кабинете, приводя в порядок, по предложению проф. Гоби, материалы по флоре Виленской губернии, и сам собрал флору этой губ. Кроме того, Ульянов, я, Шевырев состояли членами «Научно-литературного общества». Это общество имело очередные собрания под председательством проф. Ореста Миллера, на которых присутствовали только члены общества,

¹⁾ Позднее приват-доцент Военно-медицинской академии.

и экстренные, на которые допускались все студенты. После реферата, прочитанного тем или другим членом, поднимались дебаты по поводу затронутых в реферате вопросов.

Тут участвовали студенты разных факультетов, а также окончившие курс (напр., Лаппо-Данилевский, Ольденбург, Дьяконов ¹⁾ и др.), так что тот или другой вопрос мог обсуждаться с различных точек зрения. И мы рассчитывали ставить рефераты и возбуждать дебаты по разным социальным вопросам, чтобы содействовать выработке как своих собственных взглядов, так и взглядов своих товарищей. К сожалению, после нашего ареста это общество было закрыто.

В конце октября или в начале ноября (1886 г.) мы (т.-е. Шевырев и я) предложили одному нашему общему знакомому З... присоединиться к нам для совместной террористической деятельности. Хотя З... вполне сочувствовал нам и разделял наши взгляды, но отклонил наше предложение, сказав, что лично участвовать он не может, но зато может рекомендовать нам вполне надежного человека—Вас. Степ. Осипанова. В виду того, что мы вели разные студенческие предприятия и за нами могли следить, необходимо было устроить свидание с Осипановым со всевозможными предосторожностями, чтобы никоим образом сыщики не могли заметить нашего знакомства с ним. Так как я с любовью занимался ботаникой, всегда следил за ростом растений в ботаническом университетском саду и оранжерее, то я хорошо знал укромные местечки в оранжерее и свел туда незаметным образом Осипанова и Шевырева. Тут в полной тиши мы были одиноки, среди зелени, далеки от глаза всякого сыщика; мы могли спокойно приступить к делу, и шопотом быстро столковались. Осипанов нам сообщил, что он перевелся из казанского университета в петербургский со специальною целью, чтобы учинить покушение на жизнь Александра III. Он заявил, что готов действовать и в одиночку и в сообществе с другими. Он сначала думал стрелять из двустольного пистолета отравленными жеребейками, но этот план был нами забракован, как ненадежный, и мы предложили лучше действовать бомбой, которую я взялся изготовить. Мы условились также, как нам видеться друг с другом. А Осипанов в ожидании бомбы должен был осторожно наблюдать за выездами царя и хорошо изучить местность, прилегающую ко дворцу.

Я не имел таких знакомств, которые позволили бы мне получить в готовом виде динамит или гремучую ртуть. Да если бы и мог получить их со стороны, то все-таки предпочел бы сам их приготовить, чтобы иметь вполне чистые и надежные препараты. Я основательно знал химию и занимался пиротехникой. Поэтому изготовление всего, что нужно для

¹⁾ Все названные лица—ныне академики.

метательных снарядов, не могло представлять для меня затруднений. Чтобы замаскировать бомбу, я решил придать ей вид книги. Для этого я купил у букиниста медицинский словарь Гринберга в хорошем, прочном переплете, склеил клейстером края всех листков этой книги, сжал ее в прессе и высушил. Затем вырезал всю внутренность книги, оставив только края листков, так что получился род коробки. Для большей крепости я привинтил тремя винтами края склеенных листов к задней картонке книги. Далее, из тонкого картона вставил коробочку внутрь книги и дно ее приклеил к задней картонке так, что меж боковыми стенками коробочки и обрезками листов оставался свободный промежуток для помещения слоя отравленных пуль кубической формы. В картонную коробку вставлялся жестяной снаряд, а затем закрывалась верхняя крышка, привинчивалась тоже тремя винтами к склеенному обрезу листов, и снаружи книга вновь была оклеена бумагой зелено-мраморного цвета. Жестяной снаряд был наполнен динамитом, в который был погружен жестяной цилиндр с гремучей ртутью. А эта последняя при посредстве стопина сообщалась с запалом, устроенным по системе Кибальчича. Как известно, запал этот состоит из полого металлического цилиндрика, в одном конце которого прочно укреплен один конец нетолстой стеклянной запаянной трубки, согнутой спиралью. Она наполнена крепкой серной кислотой, а на свободный ее конец насажен свинцовый грузик с таким расчетом, чтобы при сильном сотрясении или ударе он мог разломать трубку. Тогда серная кислота выливается и попадает на смесь бертолетовой соли и сахара, находящуюся в полом металлическом цилиндре. Происходит моментально воспламенение, огонь по стопину передается гремучей ртути, которая, взрываясь, вызывает общий взрыв динамита. Запал этот хорош тем, что, раз приготовленный, он может служить неопределенно долгое время, но его большое неудобство то, что при нечаянном толчке бомба может взорваться. Конечно, дома можно разряжать бомбу, вынимая запал. Но так как день, когда ее придется употребить в дело, был нам неизвестен, то при неоднократных выходах на улицу с бомбой, которая легко может взорваться от нечаянного толчка, эта система запала представляет большое неудобство. Поэтому я заменил его другим, придуманным мною, вследствие чего пришлось переделать бомбу. И если сохранилась в полиции жестянка от этого снаряда, то можно видеть на боку ее заплатку—след прежнего запала.

Как я уже сказал, все, что требовалось для изготовления снаряда, мне приходилось делать самому. Прежде всего нужно было приготовить азотную кислоту, которая запрещена в продаже, а между тем она необходима как для приготовления нитроглицерина, так и гремучей ртути. Добыча азотной кислоты весьма легка. В большую стеклянную реторту сыплется сухая измельченная калиева селитра (*Kalium nitricum pur. pulverat.*) и заливается равным по весу количеством крепкой чистой серной кислоты (*acidum*

sulfuricum pur.). Затем горлышко реторты вставляется в горлышко соответственной колбы; эта последняя погружается в таз с холодной водой, в которую хорошо прибавлять снегу, а реторта подогревается спиртовой лампой. Реакция протекает медленно, чисто, и в колбе собирается отличная азотная кислота.

Сначала я сам приготавливал азотную кислоту, но это отнимало у меня много времени: кислота стекает в колбу по каплям, и потому я просил Ульянова, которого знал, как человека вполне надежного, поручить это немудреное дело студентам: Пахомию Ив. Андреюшкину и Вас. Денисьев. Генералову, научив их предварительно практически обращаться с нужными материалами и приборами. Следует заметить, что Ульянов и Г... признавали также необходимость террористической борьбы, и потому мы сильно сблизились с ними. Вместе с тем Шевырев частью непосредственно, частью при помощи Ульянова и Г., от которых узнал о настроении и желании Андреюшкина и Генералова принять участие в террористических предприятиях, основательно перезнакомился с ними, и после всестороннего обсуждения дела они окончательно решились принять участие в задуманном покушении. Но ни Андреюшкин, ни Генералов не знали меня, как соучастника, равно Ульянов и Г. не были тогда знакомы с Осипановым.

Этот последний, изучив местность, пришел к заключению, что действовать одному очень трудно. Тогда мы предложили ему образовать боевую группу из трех метальщиков и трех сигнальщиков; на это он охотно согласился, причем взялся сам руководить окончательным приведением нашего плана в исполнение. Так у нас исподволь слагалась сама собою организация. Никто ни Шевырева, ни меня не выбирал, но просто, в силу естественного хода вещей, мы очутились во главе и составили центральный кружок, который заведывал всеми делами (в этот кружок с 17 февраля 1887 г. вошел Ульянов). При этом я готовил снаряды и, по мере сил, добывал средства, а Шевырев подбирал людей для боевых групп. Ежедневно (иногда по несколько раз) мы виделись друг с другом и обменивались сообщениями, как идут дела, так что мы хорошо знали о состоянии наших предприятий. А так как Шевырев работал, не покладая рук, то начали намечаться вторая и третья боевые группы. Мы считали необходимым по возможности изолировать их одну от другой, чтобы локализовать аресты и чтобы провал одной не мог погубить остальных. Для этого мы сочли за лучшее, чтобы первая группа была составлена целиком из студентов: 3 метальщика и 3 сигнащика с Осипановым во главе, а две других группы — из других сфер, причем во главе 2-ой должен был находиться очень дельный рабочий П..., третьей—один мой приятель Н..., оказавший нам содействие в нашем предприятии. Кроме центрального кружка и боевых групп, более и менее сформированных, было некоторое число лиц, близко стоявших к нам и

принимавших деятельное участие в наших делах, как Ульянов (впоследствии, как я сказал, вошедший в состав центрального кружка), Говорухин, Н..., Сосновский и др. Наконец, мы пользовались услугами и содействием некоторого контингента революционной молодежи, которая охотно исполняла наши поручения, причем, разумеется, мы отнюдь не говорили ей, ни для чего это нужно, ни что мы задумали. Наша питерская революционная группа исподволь начала завязывать сношения с революционными группами других городов.

Чтобы заготовить сразу много динамита, я задумал выписать азотную кислоту, а также яды и на всякий случай двуствольный пистолет из Вильно. Я знал о существовании там революционной группы, знал, как к ней обратиться, и имел соответствующий пароль. Вместе с тем эта группа могла нам доставить некоторые средства. Переговорив на этот счет с Шевыревым, мы решили послать в Вильно Канчера. Он в это время еще не знал о готовившемся покушении, но отличался, как я говорил, деловитостью и расторопностью. Хотя у нас был пароль для сношения с виленской группой, но я счел за лучшее направить Канчера к своему знакомому студенту В. Пилсудскому, бывшему в то время в Вильно, на праздниках Рождества. Он мог доставить и квартиру Канчеру и свести его с кем нужно. Так как я не знал или забыл адрес Пилсудского, то я отправился к своему товарищу Гомалецкому, который был в коротких отношениях с Пилсудским. Я попросил его написать рекомендательное письмо Канчеру и вместе указать, что нам требуется. Гомалецкого я знал, как надежного товарища, на скромность которого можно вполне положиться. Канчер без всяких приключений приехал в Вильно, виделся с Антоном Гнатовским, Исааком Дембо, Титом Пашковским, раздобыл, что было ему указано, и затем вернулся в Питер, телеграммой нас известив о дне своего приезда. Мы просили Ульянова принять от него вещи и вообще помочь ему доставить их на квартиру. Оказалось, что по странной оплошности Пашковского или кого-нибудь другого нам вручили разведенную азотную кислоту, вовсе не пригодную для изготовления взрывчатых веществ. Поэтому пришлось все эти бутылки с азотной кислотой спустить в Неву. Ядов оказалось очень мало, так что эта поездка принесла нам мало пользы, только денег виленская группа передала нам через Пилсудского 110 руб.

Поэтому нам самим пришлось усилить производство азотной кислоты, которую гнали Генералов с Андреюшкиными. Шевырев приносил мне готовую азотную кислоту, а я уже готовил динамит. При производстве нитроглицерина я исключительно пользовался способом Бутми и Фоше. Если имеется под руками азотная кислота и соответственная стеклянная посуда, то приготовление динамита идет быстро и он получается хорошего качества, так как изготавливается из хороших, чистых материалов.

На своей квартире, где я работал, я не хранил динамита, но по мере его изготовления я через Шевырева передавал его Генералову, у которого был склад взрывчатых веществ на Большой Белозерской ул.

Далее мне приходилось изготавливать гремучую ртуть. Ваночки с готовой гремучей ртутью я тоже передавал Шевыреву, который относил их к Генералову.

Наконец, нужно было приготовить кусок стопина. Это две-три толстых бумажных нити, дважды пропитанных в кашеце из пороховой мякоти и высушенные.

Что же касается запала, то его устройство было таково. Моя цель состояла в том, чтобы бомбы не взрывались от толчка или удара; поэтому я исключил из запала стеклянную трубку с грузиком, а взамен ее разделил трубку запала клапаном на две части: в одной находилась смесь бертолетовой соли с сахаром, а в другой—серная кислота,—именно, кусок стеклянной ваты, пропитанной серной кислотой. Пока клапан закрыт—бомба безвредна. Когда же его открыть и бросить бомбу, то достаточно снаряду принять горизонтальное положение, чтобы смесь пришла в соприкосновение с ватой, от чего происходит моментальное воспламенение.

Футляром, куда вставлялся запал, служила металлическая трубка, впаянная в оболочку бомбы и разделенная металлической перегородкой на две неравных части: а) нижнюю—меньшую, наполненную гремучею ртутью, и б) верхнюю—большую, предназначенную для помещения запала. В середине перегородки было небольшое отверстие, через которое продет был кусок стопина. Самый запал представлял собою трубку—гильзу в роде той, какая употребляется для ракет или фонтанов в фейерверках, длиной около 7—8 сант., и такого диаметра, чтобы как раз плотно входила в металлическую трубку. Часть этой гильзы—сантиметра в 2—я отрезывал и вставлял наглухо в металлическую трубку так, чтобы она упиралась в металлическую перегородку. В нее сыпалась смесь бертолетовой соли с сахаром. Другая часть гильзы имела в нижнем конце клапан, а сверху затыкалась пробкой, к которой был подвешен на платиновой проволоке кусок стеклянной ваты, пропитанной серной кислотой. Само собою понятно, что пробка снизу хорошо была промазана расплавленным парафином, и концы проволоки, поддерживающей вату, были пропущены насквозь и закручены сверху (для большей прочности).

Устройство клапана было очень простое. Я брал кусок крепкого шпагата (его нужно пропитывать распущенным вазелином)¹⁾, один конец его свертывал колечком, такого диаметра, чтобы оно свободно входило в отверстие гильзы, и клеивал его плотной бумагой, благодаря чему получался

¹⁾ Вместо шпагата практичнее была бы струна.

диск, от которого отходил шнурок. Затем кусочек платиновой проволоки продевался через край гильзы и край диска, а концы ее закручивались так, что она представляла шарнир, на котором вращался диск. Шнурок же пропускался через стеклянную трубочку с опаянными концами и прочно прикреплялся к внутренней стенке гильзы на продолжении той линии, на которой был шарнир. Чтобы не было никаких щелей меж стенками гильзы и клапаном (диском), он весь с краями гильзы оклеивался папиросной бумагой. Наконец, вся гильза с клапаном, в особенности ее внутренность, тщательно пропитывалась расплавленным парафином для предохранения ее от действия паров серной кислоты. Если потянуть за конец шпигата, то папиросная бумажка разрывается, и клапан открывается. Хотя клапан, находясь в вертикальном положении, благодаря трению, держится сам собою хорошо, но для большей верности к металлической трубке был припаян жестяной язычок, который не позволял шпигату двинуться в обратную сторону.

Когда клапан открыт, то не только при бросании, но и при простом переворачивании запала происходит воспламенение. Опыт показал, что такого устройства запал чрезвычайно чувствителен, и не только всякий раз при бросании происходит воспламенение, но даже однажды случилось, что при открывании клапана ток воздуха поднял мелко стертую смесь бертолетовой соли с сахаром, и запал загорелся в руках. Вследствие этого пришлось ослабить его воспламеняемость, заменив простую смесь — порошок — зерненным порохом. Для этого я к смеси прибавил немного очень жидкого раствора гумми-арабикума, чтобы образовалось густое тесто, которое тонкими слоями наложил на жестяные пластинки, спрессовал, чтобы эти слои были одинаковой толщины, а затем произвел куском жести частые насечки по двум взаимно-перпендикулярным направлениям, хорошо просушил, изломал на кусочки (масса легко распадается по сделанным насечкам), встряхивал в банке, чтобы несколько сгладить края кусочков, и просеял, чтобы отделить нить и очень мелкие кусочки. Получился белый зерненный порошок, который так же легко воспламенялся от соприкосновения с серной кислотой, как и простая смесь, но представлял то удобство, что током воздуха при открывании клапана зернышки уже не могли быть увлечены.

Конечно, вместо описанного картонного запала, можно было бы сделать металлический. Но у меня не было под руками приспособлений для слесарных работ, а заказывать его механику я не решался из опасения возбудить подозрения.

Я произвел многочисленные испытания с запалами этой системы и убедился в полной их пригодности к делу. Тогда я пригласил Ульянова и Шевырева и в их присутствии проделал различные опыты, причем показал, как легко достигнуть того, чтобы брошенный запал воспламенялся

даже в воздухе (не долетая земли) на требуемом расстоянии. И Шевырев и Ульянов сами бросали многократно эти запалы и вполне убедились в неизменных результатах бросания: не было ни одного случая, чтобы не произошло воспламенения. Во время этих испытаний я иногда к металлической трубке при посредстве стопина присоединял небольшой заряд гремучей ртути, чтобы можно было видеть момент взрыва.

По расчету для трех снарядов нам требовалось около 13 фунтов динамита. Я уже изготовил более 10 фунтов, как однажды ко мне явился домоуправляющий и сообщил мне, что у него только что был агент сыскного отделения и расспрашивал его о жильце той квартиры, на которой я готовил динамит и вообще производил всякие работы по изготовлению снарядов. Как впоследствии оказалось, ничего тут серьезного не было—просто наводили какую-то справку, но для нас было неудобно иметь динамитную мастерскую в том месте, около которого рыщут шпионы, и потому приходилось подыскать другую. Мы знали, что Мих. Вас. Новорусский, у которого я бывал на собраниях по поводу устройства союза объединенных землячеств и который по своим убеждениям был революционером, переезжает за город в Парголово к своей теще—акушерке Ананьиной, чтобы заняться обработкой своей магистерской диссертации. И вот Ульянов направил одного нашего общего знакомого А... к Новорусскому с просьбой, не даст ли он своей квартиры для приготовления динамита. Новорусский согласился. По разным причинам я не мог выехать из Питера, и потому приходилось поручить кому-нибудь другому изготовить недостающее количество динамита. Наш выбор остановился на Ульянове. Хотя он и знал теоретически, как готовить нитроглицерин, но хотел посмотреть, как это делается на практике. Для этого я пригласил его вечером к себе, и мы сделали затор в двух банках, а затем утром он снова пришел ко мне, и мы собрали сифоном отстоявшийся нитроглицерин, промыли его и поставили сушиться. Затем я при нем изготовил порцию гремучей ртути, чтобы и этот необходимый продукт он мог делать в случае нужды. Когда нитроглицерин просветлел, мы изготовили из него динамит.

Таким образом мы решили перенести динамитную мастерскую за город, не столько для того, чтобы изготовить недостающий фунт динамита, сколько затем, чтобы можно было безопасно его готовить впредь для других боевых групп.

Шевырев перевез посуду с моей квартиры и через Канчера передал ее Новорусскому, а также поручил Канчеру и Гаркуну прикупить и еще банок и стеклянных колпаков, что те исполнили, а вместе с тем и узнали адрес Новорусского. Ульянов же условился с Новорусским, что будет жить некоторое время в семье Ананьиной под видом домашнего учителя на всякий случай, если бы полиция что-либо высле-дила.

Ульянов съездил в Парголово, приготовил недостающий динамит и вернулся в Питер (приблизительно 14 февраля). Жестянка для бомбы-книжки была давно готова, а оболочки двух других бомб еще нужно было сделать. Так как на старой квартире мне было неудобно резать жечь в виду того, что лязг железа и стуки могли обратить внимание соседей, то Ульянов предложил мне вырезать формы у него. Мы рассчитали размеры, вырезали отдельные части, и я взял их к себе, чтобы спаять (при помощи паяльной трубки), а Ульянов взялся изготовить наружные оболочки для этих двух снарядов, которые имели вид цилиндров с эллиптическим основанием. Дно этих футляров было сделано им из дерева, а боковые стенки—из картона, обклеенного черным коленкором. Подобно тому, как в книге-бомбе находился слой кубических отравленных пуль меж наружной оболочкой и самим снарядом, так и в цилиндрических бомбах был слой пуль между стенками снаряда и наружным футляром. В общей сложности в трех снарядах было слишком 500 пуль. Эти пули были изготовлены Андреюшкиным, Генераловым, Канчером и Волоховым. Из толстых свинцовых листов вырезывались фигуры по одному шаблону, в роде креста, прокалывались дырки шилом по одной на каждой стороне кубической пули, сгибались края в виде коробочки с очень малой внутренностью, которая наполнялась ядом, загибалась крышка, и края (ребра) пуль спаивались давлением на них плоскогубцев. Сверх того, все пули обмазывались снаружи кашицей из стрихнина и спирта. Ядов (сернокислого атропина и стрихнина) было привезено из Вильно очень мало. Поэтому я достал через одного своего приятеля большую банку стрихнина, которая и была употреблена в дело.

Покупку различных материалов для изготовления азотной кислоты, стеклянную посуду и проч. Шевырев большею частью поручал Канчеру, реже Гаркуну и Волохову или другим лицам, иногда покупал и сам—напр., кизельгур. Различные материалы и запасные банки по-временам хранились на квартире Говорухина. Их-то однажды подсмотрела хозяйка квартиры и сделала донос в полицию. Но полиция не придавала этому доносу важного значения, и когда спустя несколько дней явилась с обыском, то уже ничего не нашла.

По мере того, как развевывалась наша деятельность, все больше и больше лиц предлагали нам свои услуги или содействие, и средства начали притекать в более значительных размерах: жертвовали уже сотнями рублей. Эти средства шли на текущие расходы, а также нужно было оказывать материальную помощь Андреюшкину и Генералову, у которых средств было мало. Осипанов получал от матери 25 руб. в месяц, но и ему понадобились деньги, чтобы обзавестись хорошим костюмом. Дело в том, что появился министерский циркуляр (не помню, в каком месяце), в котором говорилось, что крамола вновь посягает на университеты, причем указывались приметы, по которым можно было узнавать крамольников, а именно

в циркуляре говорилось, что «грубый тон и неряшливый вид суть первые признаки крамолы». Вот почему Осипанов и пожелал принять облик изящного джентльмена.

Один москвич предложил нам свои услуги для устранения Каткова, но мы отклонили это предложение, так как Катков, хотя фактически и принимал участие в ретроградных мероприятиях правительства, но не занимал никакого официального ответственного поста, а мы не считали справедливым без крайней нужды прибегать к террору.

В феврале Шевырев сообщил Канчеру, что готовится покушение на Александра III, и предложил ему принять на себя роль сигнальщика и разведчика. До этого времени Канчер исполнял разные поручения и покупки и ездил в Вильно, но он только мог догадываться, что нечто замышляется, но что именно и кто исполнители—вовсе не знал. Канчер согласился, а так как Шевырев знал взгляды и настроение земляков Канчера—Гаркуна и Волохова, то вполне рассчитывал на их участие в качестве сигнальщиков и потому предложил Канчеру переговорить с ними на этот счет. Те согласились. Таким образом была готова 1-я боевая группа из 3-х метальщиков и 3-х сигнальщиков и были изготовлены все материалы для бомб-цилиндров, а бомба-книга давно уже была готова. Тогда только Шевырев счел возможным уехать на юг, в Крым, по настоянию своих родных. Он очень сильно кашлял, и легкие его были поражены, должно быть, бугорчаткой. А так как он лихорадочно работал по революционным делам, то здоровье его быстро ухудшалось, но он откладывал свой отъезд под разными предлогами, чтобы окончательно подготовить первую боевую группу.

Наконец, настал день его отъезда. Так как мне одному было не под силу вести все дела, то мы решили пригласить в наш кружок Ульянова, который должен был заступить место уезжающего Шевырева. Ульянов охотно принял наше предложение. Затем я с Шевыревым отправился на квартиру к Канчеру, и Шевырев об'яснил этому последнему, что он уезжает и потому различные поручения по революционным делам буду ему давать я. Канчер обещал исполнять все, что будет нужно. До этого времени он знал меня только как участника в разных студенческих предприятиях. Здесь я распростился с Шевыревым, и снова с ним увиделся уже на суде. При расставании он снабдил меня одним адресом и текстом условной телеграммы, которою я должен был его известить в случае, если разыграются поварные аресты, и в особенности если меня арестуют.

Так остались мы—Ульянов и я—для ведения текущих дел в Питере. Я познакомил Ульянова с тем, что ему еще было неизвестно и что нужно было знать в наших предприятиях. 17 февраля я свел его с Осипановым, с которым Ульянов еще не был знаком. Как ни близко стоял к нам Ульянов, тем не менее в отношении метальщиков у нас соблюдалась строгая конспирация. Точно также Осипанов не был еще знаком с двумя другими

метальщиками, и я устроил их свидание на Михайловской ул. в одном ресторане, причем по уговору Осипанов посредством особых сигналов завел их в одно безопасное место, где они меж собою перезнакомились и столковались, как действовать сообща.

Чтобы метальщики могли напрактиковаться в бросании снарядов и хорошо ознакомиться с устройством запалов, я наготовил много трубок, запалов, значительный запас белого порошу и вместе с баночкой крепкой серной кислоты все это передал Канчеру, объяснив ему, как следует обращаться с запалами. Метальщики сначала бросали простые трубки, в которые сыпалось немного смеси бертолетовой соли с сахаром и которые затыкались пробками, снизу смазанными серной кислотой; затем уже бросали запалы, причем должны были открывать клапаны перед бросанием, и, наконец, запалы привязывали к книгам, обмотанным полотенцем, чтобы наловчиться бросать известную тяжесть на расстояние. Таким образом они хорошо ознакомились со способом воспламенения снарядов. В производстве этих опытов непосредственное участие принимал Ульянов, наблюдая за тем, чтобы все делалось как следует.

Чтобы убедиться окончательно в полной пригодности нашего динамита и гремучей ртути, я изготовил большой динамитный патрон, соединил его стопином со свечкой (длинной гильзой, набитой медленно горящим составом) и отправил его с одним человеком в Вильно. При этом я приложил записку, как нужно произвести испытание. Следовало привязать к одной палке, воткнутой в землю, свечу, к другой—патрон, зажечь свечу, отойти на приличное расстояние и с часами в руках в указанный мною момент после зажигания свечи ожидать взрыва. В записке был сообщен текст условных телеграмм на случай успеха и на случай неудачи опыта, которыми виленская группа должна была известить нас (меня и Ульянова). И мы вскоре получили телеграмму с известием о полной удаче опыта.

Хотя мы являлись по роду практической деятельности непосредственными продолжателями партии Народной Воли, но по своим теоретическим воззрениям мы были социал-демократы. В виду этого мы хотели с одной стороны оттенить свое отличие от старых народовольцев, а с другой—не считали удобным слишком резко отделять себя от этих последних и потому дали своей организации название «Террористической Фракции Народной Воли». Для обсуждения программных вопросов мы (Ульянов, я, С..., Г...) собрались на квартире Ульянова, и здесь, после продолжительных дебатов, Ульянов взялся формулировать наши положения и составить текст программы нашей фракции. Он вышел в другую комнату и довольно быстро и хорошо справился со своей задачей. Он прочитал нам написанное, мы одобрили и решили напечатать эту программу. По своему характеру она была переходной меж программой Народной Воли и социал-демократической. Само собою понятно, что политическую свободу мы ценили, подобно

западно-европейским социал-демократам, весьма высоко, и только средства к достижению ее у нас были иные, сообразно местным условиям и наличным силам.

Ульянов раздобыл шрифт и типографские принадлежности и взялся вместе со своими помощниками напечатать эту программу. Так как мы торопились, то, прежде чем найти квартиру для помещения постоянной типографии, мы решились временно воспользоваться каким-либо удобным помещением, и я просил Пилсудского позволить Ульянову поработать в его квартире, которая для нашей цели была удобна. Пилсудский согласился, и Ульянов со своими помощниками занялся набором шрифта.

Так как в скором времени должно было состояться покушение, то предварительно нам следовало позаботиться об участии двух лиц—Рудевича и Говорухина, которые были в близких личных отношениях с Андреюшкиным и Генераловым и вследствие этого без всякой причины должны были пострадать или даже погибнуть. Поэтому мы им предложили выехать за границу. Виленская революционная группа имела паспортный стол, которым очень охотно предоставила нам пользоваться. Сначала уехал Рудевич, а потом Говорухин, причем я их снабдил адресом и паролем в Швейцарию, чтобы они могли там найти хоть некоторую помощь в первое время. Вместе с тем они из-за границы, как было условлено, известили нас (меня и Ульянова) конспиративными телеграммами, что благополучно приехали в Швейцарию.

В виду того, что многим из нашей компании приходилось погибнуть в ближайшем будущем, Ульянов задумал устроить небольшую, так сказать, прощальную вечеринку, чтобы с одной стороны дать возможность повидаться разным лицам меж собой и с другой—несколько усилить средства нашей группы. Само собою понятно, что билеты на нее раздавались только вполне надежным лицам. Между прочим, на ней были Ульянов, я, Андреюшкин, Генералов, Шмидова, которая помогала устроить ее. Вечеринка сошла вполне благополучно.

21 февраля я поручил Канчеру и Волохову зайти вечером в назначенный час на квартиру Ульянова за метательными снарядами для Андреюшкина и Генералова. К моей досаде, они явились раньше срока, когда снаряды еще не были наполнены, и они видели, как я набивал динамитом один снаряд, а Ульянов—другой, что впоследствии Канчер и показал на допросе. Когда работа была окончена, Канчер и Волохов помогли нам прибрать посуду и очистить квартиру Ульянова. Когда они уходили, унося с собою снаряды, я, шутя, спросил Канчера, что он скажет, если его вдруг арестуют на улице с бомбой. Он, не задумываясь, ответил: «Я скажу, что нашел какой-то тяжелый сверток, но, не зная, чей он, несу его в полицию, чтобы можно было его вручить хозяину, по принадлежности».

Бомбы были розданы металликам, и Осипанов стал торопиться приведением в исполнение задуманного плана, так как было известно, что

Александр III собирается уехать на юг. Квартира Генералова была очищена, разная посуда, служившая для приготовления азотной кислоты, была перевезена частью к Новорусскому, частью в другое место; точно также через одного своего знакомого я отправил к м-м Ананьиной большую бутылку азотной кислоты вместе с запиской Ульянова. Кислота должна была служить для приготовления динамита для следующей боевой группы. В 20-х числах февраля Ульянов устроил общее собрание членов первой боевой группы на квартире Канчера. Тут он им еще раз подробно объяснил устройство метательных снарядов и их действие. Затем он читал им программу Террористической фракции и имел продолжительное собеседование по разным политическим вопросам с Осипановым. Вместе с тем сигнальщики и метальщики лучше перезнакомились между собою, и с этого времени Осипанов взялся руководить деятельностью первой боевой группы. На случай успеха была составлена прокламация, начинавшаяся словами: «Жив дух земли русской, и не угасла правда в сердцах ее сынов: (такого-то числа) — казнен Александр III», и далее говорилось, что этот факт есть дело революционной партии. Ульянов выучил ее текст наизусть и сделал приготовления, чтобы она могла быть отпечатана скорейшим образом, когда понадобится.

Так как время выездов царя было неизвестно, то боевой группе приходилось выслеживать его на улице. Перед каждым выходом на улицу в снаряды вставлялись новые запалы, причем стеклянная вата смачивалась крепкой серной кислотой. Этим заведывал Канчер, а Ульянов следил за правильностью и аккуратностью этой процедуры. 26 февраля ожидалось прибытие царя в Исаакиевский собор. Боевая группа была наготове. Несмотря на то, что все было приготовлено к торжественной встрече царя и была собрана масса полицейских, в собор он не появлялся. Когда уже стало поздно, Осипанов подошел к околоточному надзирателю и спросил: «Верно, ожидают проезда царя, что так много скопилось народа у собора?». Околоточный ответил, что им действительно приказано ждать царя, но неизвестно, почему он не приезжает. В этот день так и не явился царь в собор. 28 февраля также ни метальщикам, ни сигнальщикам не удалось видеть царя. 1 марта они с несомненностью ожидали приезда царя в Петропавловский собор, но безуспешно, и вдруг были схвачены на Невском около часу дня.

Мы (я и Ульянов) находились в томительном ожидании. Развязка должна была наступить 1 марта непременно. Время шло, а между тем ничего не было слышно. Ульянов пошел на квартиру Канчера, а я — в нашу студенческую столовую, чтобы проведать, в чем дело. На квартире Канчера уже была устроена засада, и Ульянов был схвачен. Я уже в студенческой столовой узнал, что бродят темные слухи, будто было покушение на царя, будто в него стреляли и что Канчер арестован, так как на его квартире полиция. Это было началом конца.

Если бросить взгляд на год нашей подготовительной работы, то ее нельзя не назвать успешной. Сформировалась новая организация из центрального кружка, который всем заведывал, боевых групп и значительного контингента лиц, которые оказывали свое содействие и услуги. Денежные средства стали притекать к нам в более значительных размерах. В нашем распоряжении была студенческая столовая. У нас уже были динамитная мастерская, типография, паспортный стол. Завязались сношения с другими городами (в особенности нам оказывала содействие виленская революционная группа), а также с границей. Одним словом, новая молодая организация стала быстро развиваться, и инициатива активной борьбы с правительством стала переходить в наши руки. Но гибель первой боевой группы, а вместе с ней и центрального кружка нанесла этой, еще не окрепшей, организации такой удар, от которого она уже не могла оправиться.

Отчет о нашем деле был напечатан в «Свободной России» в № от 1 февраля 1889 г. Он во многом ошибочен. Прежде всего в нем дано неверное освещение самого факта покушения. «Деятельность представителей молодежи,—говорится в указанном номере «Свободной России»,—при устройстве касс, библиотек, демонстраций встречала постоянно препятствие со стороны полиции: дело останавливалось на полдороге... Неудача мирной демонстрации 17 ноября, аресты в разных слоях общества и т. п. факты поставили на очередь вопрос о новом покушении на Александра III, которое было бы ответом на все последние репрессии, направленные против общества и революционеров... Исполнители его выходили не из каких-либо конспиративных программ, а из факта собственного и общественного негодования против наглости правительства». В действительности было не совсем так. Наша студенческая столовая была закрыта только после нашего ареста. Общестуденческая касса хирела не вследствие того, что встретила непреодолимое препятствие со стороны администрации, а потому, что уже ни у Шевырева, ни у меня не хватало времени для чисто студенческих предприятий. Конечно, я этим не отрицаю, что администрация оказывала противодействие открытию касс взаимопомощи и т. п. организаций. Напр., в это время было опубликовано строгое запрещение участвовать в землячествах. Но не здесь кроется истинная причина возникновения нашей фракции. На пассивное отношение правительства к политическим демонстрациям мы вовсе не рассчитывали. Напротив, для нас эти демонстрации были только одним из средств борьбы с правительством. Деятельность нашей революционной группы, как раз наоборот, вытекала из определенной политической программы. Фактов насилия и жестокости со стороны правительства—сколько угодно; их слишком достаточно для возбуждения чувств негодования и возмущения в человеке. Но если эти чувства, равно как и желания улучшить положение трудящихся масс побуждают к деятельности, то ум и знания сообщают ей плановность. Одни факты действуют сильнее на одних

лиц, другие—на других. Напр., меня особенно возмущали все тормозы и препятствия, чинимые правительством к просвещению народа, преследования поляков, свирепые гонения на евреев. Кто не может ограничиться сферой чисто-личных интересов, кто не может не протестовать против вопиющих насилий, расправ, жестокостей и хищений правительственных агентов, тот старается выяснить себе причину этих ненормальных явлений. И вот сравнительно-историческое изучение внутренней политики деспотических правительств, политики, отличающейся поразительным единообразием мероприятий в различных странах, с полной очевидностью обнаруживает, что все ограничения прав граждан, даже самых элементарных, все репрессии, направленные на проявления насущнейших потребностей народа, все жестокости, практикуемые в отношении лиц, стремящихся изменить невыносимый существующий режим, являются прямыми логическими следствиями того факта, что публичная власть, власть одного человека над другим, сделалась частной собственностью небольшой кучки лиц. Собственники или монополисты публичной власти решают все вопросы внутренней политики с точки зрения своих выгод, а не интересов всего народа или государства. Прежде всего они заботятся о сохранении за собой этой власти, беспощадно карая тех, кто стремится отнять ее у них или только ограничить в интересах народа. Напр., в 1799 г. в Дании был издан закон, по которому подвергался смертной казни тот, кто в печатном сочинении осмелился бы советовать изменение неограниченной формы правления; вечной каторге—кто решился бы порицать способ управления или какой-либо акт правительства.

Само пользование публичной властью сводится к бесконтрольному распоряжению жизнью, личностью, силами, имуществом граждан. Результатом этого интересы деспотического правительства находятся в непримиримом противоречии с интересами населения. Исторически складывается система монополии публичной власти таким образом. Когда происходит дифференцировка в обществе, то более сильные и могущественные члены начинают практиковать различного рода насилия по отношению к слабым, и эти насилия за физической невозможностью остаются неотомщенными. По мере дальнейшей дифференцировки и еще большего усиления некоторых лиц, насилия, чинимые ими, все учащаются и становятся, наконец, обычным явлением, так что, наконец, переходят в обычай. Более слабые поневоле мирятся с таким положением вещей, как с неизбежным злом, а сильные персоны начинают считать непротивление их своеволию обязательным для остальных членов общества, и послушников они карают и силой принуждают к повиновению. На свою безнаказанность они начинают смотреть как на свое священное право¹⁾. Раз добившись господства, автократы

¹⁾ Само собою понятно, что было бы здесь неуместным вдаваться в более подробное изложение развития деспотизма.

прилагают все меры к тому, чтобы утвердить свою власть как можно прочнее. Для этого они прежде всего стремятся держать народ на возможно низкой ступени умственного развития, ставя всякие препоны к его образованию и просвещению. Вместе с тем ограничивается свобода слова и печати. Чем просвещеннее общество, чем больше гласности, тем труднее деспоту своевольничать и бесконтрольно распоряжаться средствами народа. Далее, строжайше запрещаются сходки, собрания, союзы, манифестации и вообще проявления коллективных желаний и настроений народа, так как разделяться с единицами гораздо легче, чем иметь дело с целыми группами или организациями. Такие основные интересы всего населения, как неприкосновенность личности и жилища, гарантия имущества, находятся в непримиримом антагонизме с интересами деспотов, для которых существенным атрибутом их власти является бесконтрольное распоряжение жизнью, свободой, достоинством граждан, а также их имуществом, то в виде налогов, податей, акцизов и повинностей, то в виде займов и выпусков бумажных денег, то в виде произвольных штрафов, конфискаций, вплоть до уничтожения и сожжения включительно. Чиновники не ответственны перед населением за свои злодеяния; шпионы, жандармы, сыщики получают лучшее вознаграждение, чем народные учителя и т. д. и т. д. Одним словом, весь этот гнет, репрессии и жестокости правительства являются следствием того, что автократы, сделавшись собственниками публичной власти, употребляют все меры к тому, чтобы сохранить ее за собою, и все вопросы внутренней политики решают с точки зрения своих личных выгод, какой бы ущерб ни наносился этим всему населению. Для них не нужны просвещенные, самостоятельные, сознающие свое достоинство граждане, так как над такими лицами невозможно бесконтрольно господствовать; они хотят иметь вместо граждан выдрессированное, покорное, бессловесное стадо, которое они могут стричь сколько хотят, а по временам и резать. Да нередко они и сами называют себя пастырями, а своих подданных—пасомым стадом. Одним словом, в основе внутренней политики деспотических правительств лежат оскотинивающие людей идеалы. Трудно вообразить, до какой степени цинизма и надругательства над человеческой личностью доходят бесконтрольные власти. Им нипочем задержать руку продовольственной помощи, протянутую голодающим и гибнущим крестьянам. Они смотрят на народ как на бессловесное стадо, как на рабов, с которыми нечего церемониться и для которых всегда наготове у них нагайки и плети, и тюрьмы и виселицы.

Сосредоточивая в своих руках законодательную, судебную и административно-исполнительную власть, деспоты являются виновниками, первоисточником тех мероприятий, которые задерживают умственное, нравственное, техническое и экономическое развитие общества. Как раб перед господином, так сословия, классы общества, отдельные граждане являются

бесправными по отношению в деспотическому правителю. Такое состояние обывателей можно назвать политическим рабством. Ограничение деспотизма ведет к падению политического рабства—это первый шаг к социализации публичной власти. Тут на место произвола становится договорное начало, признание в большей или меньшей степени равноправности контрагентов. Публичная власть, власть одного человека над другим, как над субъектом прав, глубоко отлична от власти над всякими иными объектами или предметами; она вытекает из самой организации общества и должна принадлежать всему обществу, а не быть предметом частной собственности. Социализация публичной власти еще важнее, чем социализация орудий производства. Если собственники орудий производства и эксплуатируют трудящееся население, то эта эксплуатация косвенная, и в каждом государстве имеется значительный контингент экономически-самостоятельных граждан. В руках же монополистов публичной власти находятся и жизнь, и свобода, и силы, и имущество граждан, причем все эти блага могут быть прямо и непосредственно отняты, а сами граждане подвергнуться всякого рода насилию и эксплуатации.

Вот почему мы считали достижение политической свободы величайшим благом для России, благом, за которое следует бороться всеми силами. И деятельность нашей Террористической фракции была вызвана к жизни не какими-либо частными репрессиями правительства, а желанием поскорее вынудить его сделать хоть некоторые уступки обществу, и вместе с тем была ответом на все притеснения и жестокости правительства. При этом были приняты нами во внимание и изолированное тогдашнее международное положение России, и чрезвычайно натянутые отношения с Германией, грозившей войной, и затруднительное финансовое положение правительства, и низкий курс рубля, и некоторые другие обстоятельства.

Террор—героическое средство. Он не может быть ежедневным, необходимым приемом борьбы, нормальной тактикой партии. Террористическая деятельность разрастается по временам, когда происходит под'ем или прилив общественной энергии и обостряется конфликт меж самодержавным правительством и обществом, стремящимся стряхнуть с себя иго деспотизма. Наша деятельность совпала с началом отлива. Это ясно было видно по уменьшающемуся числу террористических предприятий. И вот в отливашей волне общественного под'ема мы хотели собрать активные силы и еще раз вступить в схватку с правительством. Мы ориентировались в положении вещей. Для нас было ясным, что капитализм в России будет развиваться, что капиталистический строй есть шаг вперед по сравнению с тем, что есть, и что революционное движение вскоре примет более мирный социал-демократический характер (когда эти мысли в 1887 г. передавались стуком в Шлиссельбурге старым народолюбцам, то они выслушивали их с любопытством, но не без скептицизма. Ведь в 80-х годах еще обсуждался вопрос,

пойдет ли Россия по капиталистическому пути (напр., «Судьбы капитализма в России» В. В.), и казалось мало вероятным, чтобы социал-демократы могли играть значительную роль в ближайшем будущем).

Итак, повторяю, наше дело не было вызвано какими-либо отдельными частными репрессиями правительства, а вытекало из определенной программы. Не даром обер-прокурор Неклюдов в своей обвинительной речи сказал, что мы хотим дать научно-объективное объяснение террору, вместо того чтобы рассматривать его как рефлексивный акт на то или другое действие правительства.

Далее, в указанной статье «Свободной России» подвергается суровой критике организация Террористической Фракции Народной Воли и невыдержанность ее членов в конспиративном отношении. «О приготовлениях знала масса народа,—говорится там. Конспиративные квартиры, способы сношения революционеров между собой и т. д. не выдерживают самой слабой критики». Чтобы показать, что дело было не совсем так, я приведу несколько фактов. Когда давалось кому-нибудь какое-либо техническое поручение, напр., когда Канчер ездил в Вильно, чтобы привезти оттуда азотную кислоту, яды, пистолет, то, конечно, и он и виленская группа могли догадываться, что нечто замышляется, но что именно замышляется и кто исполнитель—это им было неизвестно, точно так же, как это было неизвестно даже Новорусскому, у которого готовился динамит, и Пилсудскому, у которого печаталась наша программа.

Несмотря на то, что Шевырев и я вели много различных дел, мы остались неизвестными полиции. П. Н. Дурново говорил мне, что в департаменте полиции совершенно нет никаких данных, никаких указаний со стороны полиции против меня, а между тем мне приходилось поддерживать сношения с метальщиками вплоть до их ареста, когда за ними усиленно следили. Очевидно, уж не так плоха была конспирация.

Говорухин состоял под надзором полиции; хозяйка квартиры делает на него донос, что у него хранятся разные банки и подозрительные вещества и полиция не придает этому серьезного значения, запаздывает с обыском, ничего не находит и не считает даже нужным присмотреть за Говорухиным, который свободно уезжает за-границу. Очевидно, полиции ничего не было известно ни о Говорухине, ни о том, что его товарищи организуют террористическое предприятие. Да и на суде официально заявлено, что некоторым подсудимым смягчается наказание за услуги, оказанные правосудию в раскрытии замысла, так как без этого много лиц осталось бы совершенно неизвестными правосудию.

Наконец, в «Свободной России» сделан пренебрежительный отзыв о Шевыреве, что, по-моему, вовсе несправедливо. Кто близко не знал его, тот мог иметь на суде повод, чтобы составить невыгодное мнение о нем.

В действительности это был очень энергичный, предприимчивый революционный деятель, безусловно преданный освободительному движению. В моей памяти живо встает его худощавая фигура, среднего роста, с длинными светлыми волосами, небольшими усиками и еспаньолкой, в очках. Живые глаза несколько насмешливо глядели на собеседника, а он сам в разговоре нередко заливался звонким хохотом. По своему темпераменту он был типичный холерик. Удивительно деятельный, предприимчивый, подвижный, он был душой наших предприятий. Весь день на ногах, он точно рассчитывал по часам время, где ему нужно быть и с кем видется. А дела было чрезвычайно много. Когда была разбита центральная организация Народной Воли и когда затем разразился погром на юге, где еще были сплочены революционные группы и были арестованы Оржих, Богораз и др., то оставались разрозненные кружки, группы (напр., в Москве, где был издан в конце 1886 года «Листок Народной Воли»), отдельные лица. И вот Шевырев лелеял план вновь создать обширную революционную организацию, собрать эти разрозненные элементы и привлечь новые, чтобы «противооставить силу правительственной силе», как это говорилось в прокламации по поводу 17 ноября. Так как в Питер с'езжается молодежь со всех концов России, то при посредстве ее можно было завязать сношения с разными городами и местными революционными кружками. А для этого ему нужно было завести широкие знакомства среди молодежи. Одаренный от природы проницательностью и практической сметкой, он быстро ориентировался в положении вещей, быстро оценивал людей и определял степень их пригодности для революционного дела. Он не хотел производить давления на своих знакомых, но, ярко выставляя на вид весь ужас существующего режима, стремился достигнуть того, чтобы каждый сам сознал и почувствовал необходимость активной борьбы с правительством и сообразно со своими силами принял участие в освободительном движении. Было бы ошибочным думать, что деятельность Шевырева ограничивалась только кругом молодежи: она была гораздо шире, и, напр., вторая боевая группа намечалась им среди рабочих.

Набегавшись весь день, он вечером усталый являлся ко мне, бросался на стул со словами: «ух, как умурился!» и начинал быстро излагать, что ему удалось за день сделать. И мы совместно обсуждали наши планы. Нам часто также приходилось обмениваться мыслями насчет текущих дел и в университете, где мы вполголоса подолгу беседовали. Один мой товарищ Рыбчинский не раз меня журил за это, говоря: «Вас заметят шпионы!». Но так как мы говорили меж собою, не скрываясь, лишь бы только невозможно было слышать предмета наших разговоров, то шпионы и полагали, что мы просто толкуем о своих личных делах.

Взявшись за организацию террористической борьбы с правительством, Шевырев знал, что ему не миновать насильственной смерти: не с первой

боевой группой—так со второй, не со второй—так с третьей, все равно ему придется погибнуть на эшафоте. По этому поводу он не раз мне высказывал свою точку зрения. Считая необходимым отдать все свои силы и свою жизнь освободительному движению, он имел особый взгляд на отношения революционеров к своим врагам. «Когда мне придется предстать пред судом,—говорил Шевырев,—я не намерен излагать своих воззрений. Если бы наше предприятие было началом активной борьбы революционеров с правительством, то, конечно, необходимо было бы выяснить его самый смысл и значение. Но мы продолжаем только дело наших предшественников. Ими уже достаточно было указано, чем был вызван террор и чего добиваются революционеры. Нет нужды при каждой стычке, при всякой схватке с правительством излагать свое *sic* et *non*. Это тем более излишне, что суд негласный: и судят тайком, и вешают тайком. Если бы на суд допускалась посторонняя публика, то им можно было бы воспользоваться, как средством пропаганды своих идей. Но говорить пред сыщиками и жандармами о своих целях и стремлениях излишне. Как бы ни были явны улики, практически всего отрицать свое участие в деле. Этим, с одной стороны, избегается опасность сказать что-нибудь лишнее, что может повредить кому-либо из товарищей, а с другой—чем значительнее мы будем казаться нашим врагам, тем легче будет борьба с ними, тем меньше опасность для наших друзей, знакомых, даже родных подвергнуться мщению и преследованию со стороны правительства¹⁾. А чем меньше требует жертв дело освобождения, тем лучше». Сознаю, что эти взгляды т о г д а мне казались в значительной степени убедительными. Вот почему впоследствии для меня не было неожиданностью то, как держал себя Шевырев на предварительном следствии и на суде, между тем как других, не знавших его столь близко, его поведение могло повергнуть в недоумение. Он остался верен своим взглядам. Мне приходилось просматривать наше делопроизводство и читать его два-три кратких показания, в которых он заявляет, что все показания и обвинения, возведенные другими против него, одна напраслина. Это отрицание при подавляющих уликах носит характер некоторой насмешки. И следствие и суд делали прижимки, чтобы заставить давать какие-либо показания. Напр., защитник Шевырева просил суд разрешить ему сообщить Шевыреву, в чем его обвиняют (во время судебного следствия каждого из нас приводили отдельно и допрашивали в одиночку), первоприсутствующий не хотел на это сразу согласиться, но ответил, что переговорит еще об этом с судьями. По вышеуказанным причинам Шевырев не считал нужным выступать на суде

¹⁾ Что это так, можно указать хотя бы на брата Шевырева, который только за свое родство с Петром Яковлевичем подвергся гонению правительства и должен был выйти из лесного института, где состоял приват-доцентом.

со своим политическим credo. Но, становясь в такие отношения к своим врагам, он остался так же верен и своим основным принципам—отдать все свои силы и свою жизнь освободительному движению и перед смертью в виду эшафота не повредить кому-либо из своих товарищей, участников революционного движения. Если можно оспаривать и даже осуждать взгляды Шевырева на то, как должен держаться арестованный революционер, то по основным своим воззрениям и поступкам он никоим образом не заслуживает ни осуждения, ни пренебрежительного к себе отношения.

Сделав это отступление, я вернусь к прерванной нити моего рассказа. Когда я узнал, что первая боевая группа арестована целиком, то я решил выждать некоторое время, чтобы первая горячка арестов прошла. Много шансов было за то, что в числе арестованных окажусь и я. Некоторые из моих знакомых предлагали мне немедленно уехать за границу, что тогда еще было возможно, но это не входило в мои планы. Нужно было подготовлять к действию вторую боевую группу и потому оставаться в Питере. Перейти на нелегальное положение для меня было физически невозможно, так как вследствие моего чрезвычайно высокого роста меня на улице легко мог бы опознать любой городской. Поэтому приходилось занять выжидательное положение. Меня могли арестовать по пустякам, по подозрению, и за отсутствием улик я мог быть освобожден. Вводить же в расчеты возможность предательства со стороны своих нет резона. На всякий случай я просил одного своего знакомого, чтобы он ранним утром, не заходя на мою квартиру, посмотрел, выставлен ли условный сигнал о моем аресте, и если да, то чтобы немедленно отправился к Пилсудскому и поторопил его с отправкой конспиративной телеграммы (о моем аресте) в Харьков, а также, чтобы оповестил возможно широко в университете и других местах о моем аресте, в виду того, что полицией могла быть устроена засада на моей квартире и кто-нибудь неожиданно мог пострадать. Квартира моя еще раньше была очищена. Нужно заметить, что я жил со своим учеником А. Д. на отдельной квартире, состоявшей из нескольких комнат и кухни, в которой помещалась моя небольшая химическая лаборатория. Вечером 2-го марта я уже был дома, еще раз просмотрел свои бумаги и лег спать. В два часа ночи меня разбудил звонок. Зная, что это пришли за мной, я попросился со своим учеником и пошел открыть дверь, из-за которой я услышал смущенный голос дворника: «Телеграмма». Как только дверь раскрылась, в комнату ввалилась толпа полицейских и понятых. Пристав сказал, что имеет предписание сделать у меня обыск. Начали шарить у меня в квартире, но мне сразу бросилось в глаза, что этот обыск весьма поверхностный и, напр., даже не рассматривали банок в химической лаборатории, удовлетворившись моим заявлением, что это реактивы для химического анализа. Из этого я заключил, что ничего серьезного пока нет у полиции против меня. Просматривая мои бумаги, пристав спросил, где

хранится моя переписка. Я ответил, что не люблю давать посторонним читать свои письма, и потому их уничтожаю. Затем я увидел, что начинают откладывать в сундучок некоторые из моих книг. Это были все книги учебные и разрешенные цензурой, и когда опускали в сундучок «Историю материализма» Ланге, я спросил, что это значит. Пристав ответил: «Видите ли, у меня есть секретное предписание забрать у вас все книги по химии, а поэтому я должен взять Ланге (sic!)». Все эти книги были конфискованы, и между ними некоторые имели для меня особую цену, как литографированные записки по органической химии Бутлерова. По окончании обыска пристав сказал, что хотя у меня в квартире не оказалось ничего противозаконного, но он должен меня, согласно предписания, арестовать, и потому предложил следовать за ним вместе с городовыми в часть. Ночь была тихая, улицы пустынные, и мы толпою двинулись в путь. По дороге пристав выражал сожаление, что студенты бунтуют, вместо того, чтобы спокойно заниматься науками. Я заметил, что именно студентам не дают спокойно заниматься, а хватают и таскают в участки, как, напр., меня в данный момент. Когда мы пришли в часть, пристав быстро стал давать поручение одному околоточному надзирателю: «Насчет Белоусова скажите, что на Малой Итальянской, дом № 51, такого артиста вовсе там не оказалось». Я насторожился и обеспокоился, так как он назвал дом и квартиру, в которой недавно жил Новорусский ¹⁾. В части меня не обыскивали, а предложили с одним городовым ехать на Гороховую, в охранное отделение. Это опять указывало на то, что против меня еще нет серьезных улик. Когда мы вдвоем приехали и вошли в известный угловой дом на Гороховой улице, нас встретили заспанные чиновники сыскаго отделения. Один из них предложил мне передать ему имеющиеся при мне деньги, а затем просил подождать. Время тянулось медленно; иногда слышно было хлопанье дверей, — это привозили новых; их размещали по свободным комнатам. Уже рассвело. Мало-по-малу стали собираться чиновники. В той комнате, где я сидел, двое из них вели оживленный разговор, не стесняясь моим присутствием. Один из них нападал на революционеров за то, что они прибегают к динамиту, и выражал опасение, что теперь, чего доброго, небезопасно даже курить папиросы. Того и гляди, они окажутся начиненными динамитом, и разворотят тебе всю физиономию. Другой, напротив, доказывал, что социалисты действуют рационально: раз их притесняют и круто с ними расправляются, то нет ничего удивительного в том, что они защищаются. Затем меня перевели в другую комнату, где какой-то агент просматривал письма: должно-быть, занимался перлюстрацией частной корреспонденции.

¹⁾ Впоследствии оказалось, что Канчер, или по забывчивости, или умышленно, чтобы дать возможность Новорусскому скрыться, назвал его в своем показании Белоусовым.

Почтальон принес ему кину писем; он посматривал конверты на свет, некоторые разрывал и, пробежав глазами несколько строк, комкал письмо и бросал в корзину; повидимому, исполнял свое дело весьма небрежно. В некоторых письмах он находил цветные листки, которые вынимал и откладывал в сторону. Время тянулось. Меня опять перевели в новую комнату, и здесь я столкнулся с арестованной куреисткой. Никто меня не спрашивал, и, видимо, моя особа весьма мало интересовала чинов сысского отделения. Наконец, меня перевели в одну небольшую комнату, где сидел жандармский офицер и какой-то чиновник, повидимому, занимавшийся расшифровкой конспиративного письма; так как пред ним лежала записная книжка, и он все проделывал различные вычисления. К ним приходили какие-то чины, и меж всеми ними велся оживленный разговор об Осипанове. «Представьте себе,—говорил молодой жандармский офицер,—вот здесь, в этой комнате, Осипанов бросил бомбу. Никому из нас в голову не пришло, что у него под мышкой снаряд. Мы думали—это простая книга. И когда он бросил эту книгу, то Н. Н. (тут по имени и отчеству офицер назвал одного чиновника) сказал: «Фу, какой дерзкий!» Когда же подняли книгу и увидели, что она очень тяжела и не раскрывается, то мигом сообразили, в чем дело, и тотчас с предосторожностями препроводили ее к эксперту. Вы понимаете, какой опасности мы все подвергались! Где те, что привели Осипанова сюда?». И когда явились сыщики, офицер продолжал: «Ведь моя жизнь подвергалась опасности при исполнении служебных обязанностей, и за это я должен получить награду, так вы (он обратился к сыщикам) должны давать согласные показания». Тут была проделана репетиция, что должны были на следствии говорить сыщики, и где указать место падения снаряда и место нахождения в этот момент жандармского офицера. Меня поразило известие, что снаряд не взорвался. Значит, клапан в нем не был открыт, и отчего это произошло, я терялся в догадках. Позднее, уже на суде, я узнал от Осипанова, что, когда его вели по лестнице в охранное отделение, он сделал попытку высвободить правую руку, чтобы потянуть за шнурок, открывающий клапан. Сыщики же, думая, что он хочет вырваться, еще крепче его схватили, так что, повидимому, ему не удалось потянуть за шнурок, по которому только скользнула его рука. В виду этого на судебном следствии я хотел выяснить состояние запалов в момент ареста и через первоприсутствующего задал на этот счет вопрос эксперту (генер.-майору Федорову). Оказалось, что первоприсутствующий не имеет никакого понятия об устройстве запала (напр., он думал, что если потянуть за шнурок, то происходит взрыв), а эксперт уклонился от ответа, сказав, что бомбы были вполне годны к употреблению. Ни в обвинительном акте, ни на судебном следствии не было указано устройство запалов. Насколько я могу судить, полиция не желала делать огласки на этот счет. Хотя брошенный Осипановым снаряд не взорвался и, благодаря этому, в некоторых кругах революционеров

составилось невыгодное мнение об устройстве наших бомб (см., напр., отзыв о них в «Свободной России» 1889 г.), но полиция и экспертиза были другого мнения. Когда человека крепко держат за руки, как это было с Осипановым, то трудно действовать; у Андреюшкина был в кармане заряженный револьвер-бульдог, и он не мог пустить в дело ни бомбы, ни револьвера (его тоже крепко держали). И было бы опрометчиво заключить отсюда о непригодности револьвера. Напротив, на предварительном следствии П. Н. Дурново очень хотел узнать, кто придумал систему запалов с клапаном. Когда я сказал, что принцип запала, как в этих бомбах, так и в прежних, один и тот же, то П. Н. Дурново ответил: «Извините, и пушки, и ружье, и револьвер центрального боя устроены по одному и тому же принципу, но громадная разница в удобстве их применения для известных целей. Так и снаряд с клапаном, делающим его в обычное время безвредным, имеет большое преимущество в употреблении». Очевидно, полиция не находила эту систему запала плохой.

Итак, я с живейшим интересом прислушивался к разговору, желая побольше узнать о своих товарищах. Меня не замечали. Когда затем комната опустела, то один офицер подошел ко мне и спросил: «Верно, вы пришли хлопотать о свидании с кем-либо из арестованных?». Я ответил, что меня пригласили явиться сюда по какому-то делу. Из всего было видно, что пока обо мне сыскной полиции ничего серьезного не было известно. Так просидел я еще довольно много времени. Начало смеркаться. Вдруг ко мне в комнату вошел Дурново и обратился ко мне со словами: «Подумайте, что у вас было на квартире Ульянова», и удалился. Я не мог сообразить, на что он намекает. О возможности предательства я не думал; скорее всего я допускал, что хозяин квартиры Ульянова мог услышать лязг жести, когда мы ее разрезывали для снарядов. Уже стемнело. Наконец, мне предложили ехать. Я сел с жандармским офицером и двумя вооруженными жандармами в карету, и мы тронулись в путь. Хотя окна кареты были завешены, но я мог ориентироваться, куда мы направляемся. Это для меня имело значение. Если бы меня повезли в дом предварительного заключения, то это указывало бы, что у полиции пока еще нет ничего особенно важного относительно меня. Но вот карета завернула по направлению к Петропавловской крепости, и, следовательно, уже нашлись веские улики против меня. По приезде на место, меня повели в пустую камеру, где предложили мне совершенно раздеться, и я подвергся здесь отвратительному обыскиванию, после чего мне дали надеть крепостное белье, халат, коты и перевели меня в другую камеру в нижнем этаже и заперли. Так я впервые очутился в каземате под замком. Я осмотрел свое новое помещение. Камера довольно просторная, сводчатая, с асфальтовым полом и порядочно грязная. Окно небольшое, под самым потолком; двойная железная решетка заменяет оконные рамы, и в петли решетки вставлены стекла. В углу—параша. Вода скудно сочится

из маленького крана, когда его открыть. Железная кровать и железный стол, наглухо укрепленные, и на столе небольшая керосиновая лампа— вот и все убранство камеры. Я позвонил и спросил, чтобы мне дали или купили что-либо с'естное, так как я весь день ничего не ел. Дежурный мне ответил, что теперь уже поздно, что ужин давно роздан, а покупать на свои деньги можно только в определенные дни, и то заблаговременно подав записку об этом. Я пошagal по камере еще некоторое время и лег спать. В час или два ночи меня разбудили и стали торопить одеваться и ехать на допрос. Когда меня привезли на Гороховую, то поручили меня допрашивать какому-то грубому и нахальному жандармскому офицеру. При этом присутствовали и другие жандармские офицеры. Один из них спросил, не было ли наше покушение мщением за варшавские казни (по процессу 28). Другой, ругая революционеров, с пеной у рта стал доказывать, что это покушение—еврейская проделка, что это жиды все устроили и т. д. Так как я не обнаруживал охоты вступать с ними ни в пререкания, ни в собеседование, то прокурор Котляревский, отстранив жандармских офицеров, сам принялся снимать с меня допрос. Он сказал, что я обвиняюсь в участии в покушении на жизнь царя. Я спросил, на чем основано это обвинение. Сначала Котляревский утверждал, что у него имеются на этот счет верные данные, и хотел добиться моего признания, но так как из этого ничего не выходило, то дал мне прочесть показание Канчера. В этом показании говорилось о том, как он, Канчер, вместе с Волоховым по моему поручению явились на квартиру Ульянова за бомбами, как он там застал меня и Ульянова за работой (набивкой бомб) и как он унес затем снаряды,—все это было описано с такими подробностями, которые мог знать только очевидец и участник. Прочтя эту бумагу, я сказал, что такие показания даны, очевидно, под влиянием всякого рода обещаний на счет смягчения участи арестованного, и что из-за желания облегчить свое положение обвиняемый может сделать какие угодно оговоры других лиц. «Нет, не обещаниями мы получаем признания, ответил Котляревский, а иными средствами вырываем признания у тех, кто отказывается давать нам показания: мы вздергивали на дыбу, вытягивали жилы, кормили сеledками и пить не давали». Угрозы пытками не приходилось считать совершенно пустыми. Ведь в 60-х годах, во время польского восстания, к пыткам прибегали неоднократно: в той или иной форме они практиковались и в конце 70-х годов (напр., одного участника в подкупе в херсонское казначейство жестоко били, желая вынудить признание, где спрятаны деньги). Даже в настоящее время, когда за истекшие 20 лет агенты правительства несомненно успели несколько цивилизоваться, нельзя сказать, чтобы арестованный был гарантирован от пыток и истязаний, с целью вынудить его дать нужные для правительства показания. Патриархальные приемы сыска в России еще не отошли в область преданий.

Когда допрос принял такой оборот, я решил прекратить с Котляревским всякие разговоры и ограничился кратким заявлением такого рода: хотя я по своим воззрениям социал-демократ, но не принимал никакого участия в приписываемом мне замысле. К сожалению, я тогда еще не знал, что обвиняемый имеет право отказаться от дачи показаний. С судебной процедурой я был мало знаком. Хотя я, вместе со студентами-юристами, осматривал места заключения: Литовский замок, дом предварительного заключения, только что построенные «Кресты» и еще одну старую тюрьму (теперь, вероятно, уже сломленную), хотя я повременам и посещал лекции проф. Фойницкого, читавшего уголовное судопроизводство, но за недостатком времени делал это урывками и был совершенно недостаточно осведомлен в этом отношении. Практичнее и целесообразнее всего было бы расспросить опытного юриста насчет тех пунктов, которые ближе всего касаются революционеров, попавших в руки своих врагов. Этого я не успел сделать.

После моего заявления меня снова отвезли в крепость. Когда я очутился вновь в своей камере, я почувствовал, что счеты мои с жизнью кончены, и мне было очень тяжело при мысли, что приходится проститься навсегда со своими планами и надеждами и погибнуть в расцвете сил, не успев сделать ничего положительного, осязательного. Вместе с тем, мне было крайне больно, что начались оговоры среди членов нашей группы.

На следующий день утром мне дали кусок черного хлеба и кружку кипятку ¹⁾, а также полотенце, сказав, что полотенце нужно возвратить, когда я умоюсь. Через некоторое время меня снова повезли в закрытой карете, но куда, я не мог определить, только не на Гороховую улицу и не в департамент полиции, так как я знал расположение улиц в Петербурге. Ехали мы долго, наконец, завернули во двор одного многоэтажного дома и остановились во дворе. Тут мне предложили выйти из кареты и следовать по указанию жандармов, которые вместе с офицером стали подниматься по лестнице вверх. Взошли мы на самый верхний этаж, где оказалась стеклянная галлерея, жаровня с горящими углями, несколько стульев да двое раскрытых дверей, ведущих в соседнюю темную комнату, расположенную параллельно галлерее. В этой комнате слышно было шushingанье многочисленных голосов. Меня усадили на стул боком против одной двери. Оказалось, что в темной комнате был известный контингент шпионов, которые рассматривали меня с одной стороны, чтобы припомнить, не видели ли меня когда-нибудь и при каких обстоятельствах, а с другой, — чтобы запомнить мое лицо на будущее время. Находясь в темной комнате, они могли меня хорошо видеть, тогда как мне трудно было их различить. Вместе с

¹⁾ По положению, в Петропавловской крепости ни чаю, ни белого хлеба заключенным не полагается, но можно и то и другое выписывать на свои деньги.

тем с меня тут же сделали несколько фотографических снимков в разных позах, и в верхнем платье и без него. Затем меня снова повезли на допрос. Опять прокурор Котляревский, вместе с жандармскими офицерами, прилагали всякие усилия, чтобы добиться моего признания в участии в замышлявшемся покушении. Но так как их усилия были безуспешны, то они дали мне прочесть несколько показаний разных лиц, из которых я увидел, что факт снаряжения бомб на квартире Ульянова твердо установлен, так как и сам Ульянов, конечно, не называя меня, сознался, что действительно набивал динамитом снаряды у себя на квартире. Полагая, что при дальнейшем следствии мое участие будет раскрываться все больше и больше, я счел бесполезным свое заpiresательство и потому заявил, что действительно делал то, в чем меня обвиняют ¹⁾. Вместе с тем, я счел нужным изложить мотивы, которые побудили меня к террористической деятельности, и как я постепенно пришел к мысли о необходимости активной борьбы с правительством. Из осторожности я должен был кое о чем умолчать, именно о преследованиях инородцев, чтобы не дать повода полиции и репильной прессе выставлять наше дело, как революционную вспышку со стороны поляков, и тем оно с одной стороны утратило бы характер общности протеста против существующего режима, а с другой—могло бы подать повод к еще большей травле поляков. Насколько в этом отношении революционная молодежь в мое время была осторожна, можно видеть из следующего факта. Когда директор технологического института своими придириками и притеснениями возбудил общее негодование студентов, то они решили оскорбить его действием. Вызвавшиеся добровольцы хотели кинуть жребий меж собою, но затем, обсудив дело, пришли к заключению, что будет неудобно, если жребий падет на поляка, так как в этом случае все дело выставят, как польскую интригу, утратится общность протеста, да и могут быть приняты разные репрессии по отношению к студентам-полякам. Но, с другой стороны, полякам было неудобно сваливать всю тяжесть борьбы с администрацией на одних русских студентов. Поэтому поляки кинули жребий промеж себя, русские сделали то же, и затем одновременно студент-поляк ударил директора по одной половине физиономии, а русский — по другой.

Изложить свои взгляды и мотивы в один прием я не мог, тем более, что писал сначала начерно, и потому меня раза два или три возили для этого на Гороховую. Курьезно то, что Котляревский, который на первом допросе грозил мне пытками, чтобы заставить меня сознаться в революционной

¹⁾ Когда мое участие в покушении было установлено, то на моей квартире был сделан вторично обыск и притом самый тщательный; перевернули все вверх дном, даже распарывали подушки и матрац. Конечно, ничего не нашли.

деятельности, прочитав мою бумагу, стал советовать смягчить резкие выражения относительно правительства ¹⁾.

Что же касается дальнейших допросов (меня не раз возили в сыскное отделение), то я признавал относительно себя то, что указывали мои участники; при этом, конечно, я старался сделать так, чтобы не повредить кому-либо признанием того или другого факта. Поэтому я обыкновенно требовал, чтобы мне дали прочесть показание того лица, которое сообщало что-либо о моей деятельности, и только в более редких случаях довольствовался словесным изложением обвинения, которое должно было сопровождаться подробностями, исключающими возможность подвоха или фальсификации ²⁾. Самым главным пунктом моего обвинения было то, что я с Ульяновым набивал динамитом бомбы; другие пункты имели меньшее значение, — как передача некоторых вещей Канчеру, рекомендации в Вильно, побег Говорухина. Я ожидал, что постепенно мое участие в деле будет разоблачаться все далее, но так как ни Шевырев, ни Ульянов ничего не желали говорить обо мне, сама полиция ничего не знала (не могла даже доказать моего знакомства с метальщиками), а Канчеру было неудобно о многом рассказывать (в этом случае ему предстояло еще больше себя запутать), то вышеприведенными пунктами и ограничилось мое обвинение. Поэтому суд отнес меня в третий разряд (1-й — зачинщики, 2-й — сообщники, 3-й — более или менее необходимые пособники), куда были причислены Новорусский, Пилсудский, Ананьина, Шмидова, Пашковский.

Кажется, на Страстной неделе первоприсутствующий Дейер вручил мне в крепости обвинительный акт. Я с жадностью стал читать его, в надежде узнать, каким образом была выслежена боевая группа, но, увы, этого не нашел. Но зато узнал, что весь наш центральный кружок под замком, и вдобавок много таких лиц (Новорусский, Ананьина, Пилсудский, Пашковский), которые попали в руки полиции по оговору. Защитника мне назначили от суда — Принца (фамилию хорошо не помню — она похожа на титул), старика, мало интересовавшегося нашим делом и враждебно относившегося к революционерам. Он должен был одновременно защищать меня и Пилсудского. Мне дали свидание в крепости с защитником. Думая, что моя казнь неизбежна, я объяснил защитнику, что решил обратиться с ходатайством к судьям, чтобы мне заменили обычную казнь через повешение расстрелянием, так как знал, что это подлежало компетенции суда на основании 18 статьи уложен. о наказан. издан. 1883 г. Это я хотел сделать,

¹⁾ Когда Котляревский говорил мне, что моя записка попадет в руки очень высокопоставленного лица, то я мало на это обратил внимания. И только в 1918 г. я узнал, что царь очень внимательно читал наши показания и делал собственноручные пометки и возражения по поводу прочитанного.

²⁾ И все-таки не обошлось без подвоха кое в чем.

конечно, не потому, чтобы я считал один вид казни более почетным, чем другой, а просто по субъективным причинам, признавая расстрел более легким способом перехода в небытие. Но мой защитник стал категорически отсоветовать делать этот шаг, выражая твердую надежду, что суд примет во внимание то, что покушение не состоялось, и вследствие этого смягчит наказание.

Мне очень хотелось узнать подробнее, что раскрыто предварительным следствием. Будучи еще на воле, я читал отчет (издания Народн. Воли) о варшавском процессе 28-ми, в котором, между прочим, говорилось, что некоторые из подсудимых читали в подлиннике целые томы своего дело-производства. Отсюда я заключил, что я имею право на прочтение нашего дела, и подал в сенат заявление об этом. Никакого ответа я не получил, но когда нас перевезли на время суда в дом предварительного заключения, то однажды меня вызвали в свободную камеру и там, в присутствии особого чиновника, дали мне сброшюрованные документы по нашему делу часа на два для просмотра. Тут я мог познакомиться с тем, кто какие показания давал и что было раскрыто шпионами (по крайней мере отчасти). Насколько можно судить по документам, поводом к раскрытию нашего замысла послужило письмо Андреюшкина к Богоразу (Тану), который как раз в это время был арестован, и письмо к нему перехвачено. Оно в общем безобидного содержания, но одна фраза могла подать повод для установления тайного надзора за Андреюшкиным, а именно—«боюсь попасть на казенные харчи, так как повлек бы за собою много хорошего народу». Правда, Андреюшкин, приняв на себя роль метальщика, стал вести тихий и уединенный образ жизни, так что не мог никак возбудить подозрения. Но когда он, вместе с другими, стал выходить на улицу и подолгу ждать проезда царя, то обратил на себя внимание сыщиков, и они успели выследить и тех, кто был вместе с ним. На суде шпионы показывали, как они следили за Андреюшкиным и как передавали его друг другу, и как, наконец, им удалось выследить Осипанова. 1-го марта метальщики не могли дождаться выезда царя из дворца (был уже полдень), озябли и решили зайти в трактир немного погреться, закусить и столковаться, что делать дальше. Между собою они держались на улице, как незнакомые друг другу лица, и потому пришлось, по определенному сигналу, которого шпионы не заметили, сойтись в одном месте. Но когда они очутились в трактире, куда, разумеется, зашел и сыщик, шпионивший за Андреюшкиным, то он глаз не спускал с этого последнего, и ему удалось подметить, как обменялись сигналами Андреюшкин с Осипановым. Так был открыт последний неизвестный полиции метальщик из первой группы. К Осипанову были тотчас приставлены шпионы, и вскоре все метальщики были схвачены.

Из Петропавловской крепости нас перевезли перед самым судом в дом предварительного заключения и поместили нас в нижнем этаже. Тут порядки

гораздо лучше, чувствуется жизнь, и нет такой удручающей тишины, изолированности и одиночества, как в Петропавловке. Но почам у нас были открыты дверные форточки, газ горел всю ночь непрерывно, и за нами усердно присматривали.

Судило нас особое присутствие сената с сословными представителями. Выстроив нас в длинную вереницу на коридоре, причем меж каждыми двумя подсудимыми в цепи стоял жандарм, нас повели в суд. Председатель Дейер сразу же проявил свою придирчивость к нам, закричав: «Без рукопожатий!», когда увидел, что я здороваюсь с Ульяновым и другие делают то же. Он грозился также вывести из суда Генералова, который не мог без смеха слушать показаний сыщиков и полицейских. Допрос свидетелей, которые все были выставлены со стороны обвинения, за исключением тех, которых вызвал Новорусский, не имевший защитника, длился довольно долго, и тут было немало интересного. Так, напр., выяснилось, что когда полиция узнала квартиру Новорусского в Парголово, то сначала урядником была послана в качестве соглядатая его жена, под видом, будто она желает посоветоваться с акушеркой Ананьиной (тещей Новорусского), а в действительности, чтобы высмотреть квартиру и узнать, много ли там народу. Когда затем нагрянула полиция, то, опасаясь вооруженного сопротивления, она вперед выслала понятых и старосту, которые простодушно рассказывали, как они думали, что уже им пришел конец. Когда же, ворвавшись в квартиру и схватив Новорусского, мирно беседовавшего со своей невестой, полицейские заметили в квартире много стеклянной посуды, то пристав обратился в департамент, чтобы прислали техника, но ему ответили—«пусть сам возьмет эту посуду». Под табуретом нашли чугунок с водой, в которой стояла стклянка с унцом нитроглицерина. Она-то их страшно и напугала. Брюхом на земле они начали ползать, чтобы высмотреть, нет ли каких-либо проволок от этого чугунка, идущих куда-нибудь. С перепугу у них двоилось в глазах, и показалось, что идут какие-то провода от чугунка, о чем они не замедлили доложить директору департамента полиции. Когда же им повторно был дан приказ доставить посуду, то эта злополучная сткляночка с большой помпой, обложенная льдом, что велел сделать пристав «по логическому соображению», как он объяснил на суде, была доставлена в Петербург. Характерны были показания квартирной хозяйки Говорухина, которая в свое время сделала донос на Говорухина, а на суде хотела повредить Шмидовой и вошла в такой азарт, что начала гримасничать и приседать, так что Дейер унял ее словами: «Свидетельница, не увлекайтесь!». Эту даму, тип истинной черносотенки, Неклюдов выставлял, как образец гражданской лобости: чуть что подсмотрит, тотчас делает донос куда следует.

Любопытны были показания шпионов, как они следили за Андреюшкиным и как, наконец, им удалось подметить Осипанова, о чем я говорил выше.

Что же касается свидетельств экспертизы, то в некоторых пунктах ее можно назвать недобросовестной. Так, напр., у меня нашли старый преysкурaнт аптекарского магазина Гружевского в Вильно, относящийся еще к тому времени, когда я был в гимназии, и не имевший никакого отношения к нашему делу. В этом преysкурaнте были отмечены карандашом разные вещества, которые я в давнее (гимназическое) время покупал для своей маленькой лаборатории, и, между прочим, наряду с солями стронция, бария, сурьмы и т. д., были отмечены глицерин и ртуть. И вот это дало повод к заключению, что у меня «найден кaтaлог с отметками взрывчатых (!) веществ». Как будто ртуть и глицерин принадлежат к взрывчатым веществам! Если бы кто-нибудь выписал себе сукна, ваты, фланели, ниток и пуговиц, то его можно также было бы обвинить в покупке «взрывчатых веществ», как как из ваты можно приготовить пироксилин, подобно тому, как из глицерина можно приготовить нитроглицерин, а из ртути—гремучую ртуть. Я только кратко указал эту тенденциозность на суде, так как пометки в кaтaлоге для меня не имели практического значения. Но другие показания экспертизы могли принести некоторым лицам явный ущерб. Так, эксперт утверждал, что приготовление азотной кислоты сопровождается обильным выделением удушливых паров, точно так же, как и изготовление нитроглицерина, так что хозяева квартиры не могли не обратить внимания на эту работу, и следовательно бросал тень подозрения на хозяев квартиры в соучастии в замысле. При заводском способе приготовления азотной кислоты из селитры берут ради экономии серной кислоты столько, чтобы в остатке получилась средняя сернокалевая (или серно-натриевая) соль K_2SO_4 . В этом случае, действительно, выделяются вонючие кислоты азота; но при лабораторном способе приготовления азотной кислоты берут вдвое больше серной кислоты (в остатке получается кислая сернокалевая соль $KHSO_4$), и реакция идет так чисто, без всяких удушливых паров, что можно работать хоть в салоне. Само собою понятно, что этим последним способом дома всегда и готовят азотную кислоту, и потому показания эксперта совершенно неверны точно так же, как и относительно нитроглицерина. К чему готовить нитроглицерин прямым смешением серной кислоты с азотной и приливанием к смеси глицерина, смешением, которое требует огромной массы воды для промывки и основательного охлаждения смеси, когда имеется легкий способ, не требующий никаких особенных приготовлений и не дающий никаких дурно пахнущих паров? Ведь следует полагать, что эксперту известны различные способы приготовления нитроглицерина. Недобросовестно, поэтому, с его стороны утверждать, что революционеры готовят азотную кислоту и динамит наименее пригодным для них способом, и таким образом бросать тень подозрения на хозяев квартиры, между тем как в отобранной посуде он может видеть, что работали не по тому способу, какой он указывает суду. Это тем более нехорошо, что судьи, вовсе

не знающие ни химии, ни пиротехники, полагаются на веское слово профессора-эксперта и относятся с предубеждением к заявлениям подсудимых, думая, что эти последние прибегают к уверткам, чтобы скрыть некоторые обстоятельства, а доказать суду экспериментально, фактически правоту своих заявлений на этот счет они лишены возможности.

Для судебного разбирательства каждого из нас проводили отдельно в залу, так что мне неизвестно, что говорил каждый из нас; я же высказал те мотивы, которые побудили меня примкнуть к революционному движению. Затем нас снова свели вместе, когда прокурор и его помощник произносили обвинительные речи. После этого защитники выступили со своими речами, бледными, краткими и бесцветными, не касаясь тех условий, которые породили революционное движение, которые приводили и приводят на скамью подсудимых столько лиц, одушевленных стремлениями улучшить существующий режим. Ульянов и Новорусский не имели защитников и потому говорили сами. Речь Ульянова отличалась искренностью и основательностью. Он начал с того, как первые мечтания его ранней юности о народном счастье сменились затем идеалами научного социализма. Его стремления сблизиться с народом, внести более сознательности в его среду и помочь ориентироваться рабочему люду в его тяжелом положении—встретили непреодолимое препятствие со стороны правительства, которое отняло всякую почву для легальной политической деятельности. А между тем для человека, одушевленного стремлениями содействовать улучшению быта рабочего класса и сознающего свои общественные обязанности, нет возможности уйти в частную жизнь, ограничиться кругом личных интересов. Остается только нелегальная борьба с тем режимом, который на каждом шагу стесняет свободную деятельность граждан. Выступить открыто, с оружием в руках, немисливо вследствие подавляющего превосходства физической силы, имеющейся в распоряжении правительства; и вот для этих крайних случаев, когда нарушаются и попираются самые дорогие интересы просвещенного и чуткого к неправде человека, изобретен террор. Он есть и ответный акт на возмутительные насилия правительства, и прямое нападение на него, с целью вынудить признание политических прав за населением страны. Самый факт существования террора указывает на то, что страна переросла деспотический режим, что власти фактически уже не безответственны перед народом и, по крайней мере, время от времени несут кару за свои злодеяния. Какие бы жестокие меры ни принимало правительство, чтобы подавить революционное движение, всегда найдется кучка лиц, которых ничем не запугаешь. Воодушевленные светлыми идеалами будущего счастья, они сильны тем, что правительство не знает, ни когда, ни где, ни кому будет нанесен ими удар, и потому принуждено постоянно быть настороже и держаться, как в захваченной неприятельской стране. А это и разорительно, и утомительно, и опасно для властей

предержавших. И он, Ульянов, все свои силы посвятил на активную террористическую борьбу с правительством и прилагал все меры к тому, чтобы сделать предприятия Террористической Фракции Народной Воли, членом которой он состоит, наиболее успешными и плодотворными.

Председатель перебывал Ульянова в тех местах, где он говорил о стремлении революционеров добиться политической свободы, говоря, что это уже известно правительству.

Осипанов тоже намеревался сказать речь, но пропустил свою очередь, и когда ему было предоставлено последнее слово и он начал с возражения своему защитнику, что не желает никакого снисхождения себе со стороны суда, то Дейер его остановил и запретил продолжать, на том основании, что в последнем слове можно говорить только в свою пользу, а не во вред себе. И Осипанов должен был замолчать. Андреюшкин и Генералов бодро и твердо держались на суде.

В конце концов нам прочли предварительное постановление суда по нашему делу, постановление, почти ничем не отличавшееся от окончательного приговора, а именно: всех 15 человек приговорили к смертной казни, но из них 8-ми человекам—Канчеру, Гаркуну, Волохову, Пилсудскому, Ананьиной, Пашковскому, Шмидовой и Сердюковой суд решил ходатайствовать смягчить смертную казнь, заменив ее каторгой на разные сроки, Шмидовой—поселением, с лишением всех прав, а Сердюковой—заключением в тюрьме (без лишения прав). Таким образом я, в числе 7 человек (Осипанов, Андреюшкин, Генералов, Шевырев, Ульянов, Лукашевич, Новорусский), оказался приговоренным к смертной казни, которую суд не нашел возможным смягчить ничем. После этого приговора мне разрешили свидание с отцом. Отцу моему, который очень любил меня, чрезвычайно хотелось спасти мне жизнь. Защитник мой тоже настойчиво советовал подать прошение о помиловании, текст которого он составил. Я колебался, но потом подал прошение. В это время, увы, я смотрел на подачу прошения совершенно ошибочно, как на формальность. Но чем больше я сближался и сживался со старыми народолюбцами в Шлиссельбурге, тем резче, сильнее и мучительнее чувствовалась вся неуместность этого поступка. И этот ложный шаг стоил мне многих страданий.

После прочтения нам окончательного приговора, нас снова перевезли в Петропавловскую крепость, и мы ожидали утверждения приговора царем. Вечером 4-го мая ко мне зашел комендант крепости, вместе с целой свитой, и объявил мне, что царь заменил мне смертную казнь пожизненной каторгой. Я слышал, что он заходил и в другие камеры. Мне мучительно хотелось знать, какая участь постигнет моих товарищей—Шевырева, Ульянова, Осипанова, Андреюшкина, Генералова, и я чутко прислушивался ко всему, но ничего не мог заметить. Я лег довольно поздно и уснул. Вдруг меня разбудили и стали торопить одеваться. Наскоро одевшись, я быстро пошел

«следом за сторожами, которые, после разных переходов и заворотов, ввели меня в довольно просторную комнату, тускло освещенную, где находился жандармский офицер и несколько человек стражи. Тут я увидел своего товарища Новорусского. Офицер сказал, что мы можем беседовать меж собою. Мы слышали, как проводили мимо нашей комнаты по коридору закованных в кандалы, и ждали своей очереди. Но нас, не заковывая, повели вниз, усадили в карету и привезли на пристань, которая в нескольких шагах от выхода из крепости. Здесь, быстро подхватив меня под руки, перевели на пароходик, усадили в каюту вместе с Новорусским, и мы тронулись в путь. На наш вопрос, куда мы едем, офицер ответил: «Сами увидите». Мы легко догадались, что пароходик мчит нас к Шлиссельбургу.

Мы, все время беседуя, сидели в каюте и не могли видеть берегов Невы. Наконец пароход остановился, и мы долго ждали, пока нас выведут из каюты. Когда наконец я вышел на палубу, то успел только бросить взгляд на ослепительно сверкавшее озеро под яркими майскими солнечными лучами, и меня тотчас почти бегом стали тащить по направлению к крепости. Два жандарма держали меня под руки, и целая толпа их окружала меня и напором сзади толкала вперед. Сверх того, полтора десятка солдат с крепостным начальством эскортировали нас. Так мы промчались через крепостной двор мимо церкви, прошли через кордегардию, обогнули новую тюрьму, двух, этажное кирпичное здание с 2-мя высокими трубами, которую я принял сначала за какую-то фабрику, прошли глубокие ворота цитадели, большой двор, покрытый зеленою, испещренный кое-где желтыми одуванчиками, и вошли в белое одноэтажное здание—старую тюрьму («сарай»). Здесь мы повернули налево и остановились в довольно просторной комнате, куда пришли также начальник управления, его помощник (смотритель), доктор, жандармские офицеры, вахмистр. Мне предложили совершенно раздеться и здесь меня подвергли столь же тщательному и отвратительному обыскиванию, как и в Петропавловке. Затем мне дали грубую серую рубаху и кальсоны, с неимоверным количеством костриги и притом столь узкие, что я еле-еле мог их надеть и почувствовал сотни колючек, впившихся в мое тело. Сверх того мне дали коты, халат с двумя бубновыми тузами и другими украшениями в виде цветных букв и шапку-блин с черным крестом. Затем быстро повели по коридору в самый его конец, впустили в камеру (№ 9-й, самый плохой в старой тюрьме) и быстро защелкнули. Так я очутился, 5-го мая 1887 г., в Шлиссельбургской крепости, где я провел 18½ лет. Меня очень беспокоила участь остальных пяти товарищей, которых могли либо казнить, либо засадить в Шлиссельбургскую крепость. Я прислушивался ко всякому подозрительному шуму, но ничего не мог разобрать. Ночью мне также ничего не удалось подметить. И когда, дня через два, я заснул крепким сном, то именно тогда, ранним утром 8-го мая, была совершена

казнь над 5 членами нашей организации: Шевыревым, Ульяновым, Осипановым, Андреюшкиным и Генераловым. Много позднее один унтер-офицер указал нам место на большом дворе, где стоял эшафот. Так закончилось наше неудавшееся предприятие, и террористическая борьба надолго заглохла, чтобы вновь возродиться лет через 18, и притом с необычайной энергией.

Осужденные на каторгу, по нашему процессу, как Гаркун, Волохов, Канчер, Пилсудский (и кажется Пашковский и Ананьина), были отправлены на Сахалин. Сверх того, около 50 лиц были высланы административно в Сибирь: Лидия Ананьина (невеста Новорусского), Иосиф Пилсудский ¹⁾, брат судившегося Бронислава, Гомалецкий и др. Еще больше было арестованных, которые подверглись различным более легким административным взысканиям: отсидживанию в тюрьме, высылке на север ²⁾, высылке на родину, отдаче под надзор полиции.

В заключение считаю необходимым сказать несколько слов об участниках в нашем деле, которых уже нет в живых. О Шевыреве я достаточно сказал выше.

Осипанов, родом из Сибири, учился в томской гимназии и уже там увлекался романом Чернышевского «Что делать» и, закаливая себя для будущей борьбы, спал на досках, подбитых гвоздями. В Томске он вел знакомство с учеником реального училища Борисом Оржихом, впоследствии сидевшим в Шлиссельбурге. Затем он принимал участие в Красном Кресте Народной Воли. Он много трудился над выработкой своих взглядов. Будучи социалистом, он ясно сознавал, что никакие социальные реформы не имеют шансов на успех, пока нет политической свободы. Для достижения этой последней он не считал возможным останавливаться ни перед какими жертвами. Наиболее целесообразным для этого средством он считал—производить давление на главу государства, который при самодержавном строе несет моральную ответственность за все несправедливости, жестокости и мерзости существующего режима и от которого в высокой степени зависит дальнейшее существование этого устаревшего, негодного государственного строя. Поэтому он перевелся из казанского университета в петербургский, чтобы, с одной стороны, иметь легальное положение, а с другой—иметь возможность учинить покушение на Александра III.

Осипанов был среднего роста, коренастый, крепкого сложения, брюнет; судя по чертам его лица, в нем можно было предполагать некоторую примесь инородческой крови. Это был человек чрезвычайно осмотрительный,

¹⁾ Ныне видный политический деятель в Польше.

²⁾ Между прочим, был выслан в Архангельскую губ. Ник. Федор. Погребов, ныне геолог, принимавший деятельное участие в нашей студенческой столовой.

осторожный (давно он заслужил кличку «кот»), но в то же время твердый, решительный и беззаветно преданный освободительному движению. Это был идеальный тип борца боевой дружины, у которого не дрогнет рука в решительный момент, и который не потеряет ни самообладания, ни хладнокровия в самую критическую минуту. Когда он принял на себя роль метальщика, мы спросили, не хочет ли он иметь при себе на всякий случай яд, но он отказался, считая, что, что бы ни случилось с ним, он сумеет выдержать до конца.

Генералова и Андреюшкина я лично мало знал. Как твердость, решительность, спокойствие духа были отличительными чертами первого, так второй не был чужд в известной мере романтизма, восторженности и увлечения. Оба они согласились стать метальщиками после долгого размышления и основательного обсуждения этого шага с Ульяновым, Г..., а также Шевыревым. Раз решившись, они остались верными себе до конца.

С Ульяновым я был вместе на естественном факультете в продолжение четырех лет. На первых двух курсах мы не были близко знакомы друг с другом, хотя и встречались постоянно в аудиториях и лабораториях, так как оба мы одинаково усердно работали и посещали лекции. На 3-м курсе мы сблизились на почве студенческих организаций, затеянных Шевыревым. Ульянов был несколько застенчив, но с кем он сходилась, у того он завоевывал симпатии своей прямоотой и искренностью. Он был очень молод—только в тюрьме он достиг совершеннолетия (31 марта 1887 г. ему исполнился 21 год), и, несмотря на это, отличался своей начитанностью и широтой своего мировоззрения. Это была чрезвычайно талантливая и богато одаренная натура. Его работа об одной группе червей была награждена золотой медалью. Даже в самый разгар нашей революционной деятельности он, сколько мог, уделял времени научным занятиям. Помню, я однажды всюду искал его в университете по какому-то спешному делу и не мог найти, и наконец застал его в зоологическом кабинете, спокойно препарировавшим ставниц (морских тараканов—*Idothea entomon*), которых целое ведро привезли ему из Кронштадта.

Как и все вообще революционеры, он не был шовинистом и считал военные неудачи при тогдашних обстоятельствах полезными для своей родины (тогда имелось в виду столкновение России с Германией). Эти неудачи на поле брани вскрыли бы, с одной стороны, недостатки существующего устаревшего режима, а с другой—ослабили бы правительство, и тем самым облегчились бы и борьба общества с ним, и переход к новым формам государственной жизни. Он высоко ценил политическую свободу, как благо само по себе, а не только как средство, легализирующее и облегчающее борьбу рабочего класса за свое лучшее будущее. Постепенно втягиваясь в наши предприятия, он усердно работал вместе с нами по приготовлению задуманного покушения, а затем, когда заступил место уехавшего

Шевырева, он проявил себя очень энергичным и предприимчивым руководителем нашей организации. Он очень близко принимал к сердцу интересы нашей группы и всеми силами старался обеспечить ей успех в предприятии.

У Ульянова была просторная квартира на Петербургской стороне, и здесь мы довольно часто собирались. Тут происходили заседания нашего биологического кружка, тут мы сходились нередко для обсуждения разных революционных дел. Помню, однажды, как-то речь зашла о возможных арестах после покушения, и Говорухин сказал: «Кому-кому—а Лукашевичу достанется больше всех!». Он имел в виду бомбы, приготовленные мною. А между тем степень моего участия не была выяснена следствием, для Ульянова же обстоятельства сложились самым несчастным образом. Прежде всего он был арестован на квартире Канчера—т.-е. члена боевой группы. При аресте у него была отобрана записная книжка с шифрованными записями, среди которых, между прочим, был виленский адрес Пилсудского, что полиции удалось прочесть благодаря тому, что этот адрес был указан Канчером. Далее следствием было раскрыто, что Ульянов готовил динамит, что снаряжал бомбы у себя на квартире, что устроил собрание метальщиков и сигнальщиков, что печатал программу Террористической Фракции и т. д.,—одним словом, его деятельность не только была выяснена, но на него даже пало подозрение в виновности в том, чего он и не делал. Когда на первом допросе ему предъявили показание Канчера, он уклонился от всяких объяснений по этому поводу и просил отложить допрос до следующего дня, так как он чувствовал себя нездоровым. Обдумав свое положение, он решил прямо заявить о своей принадлежности к Террористической Фракции, а вместе с тем и погибнуть. Справедливо не признавая себя ни инициатором, ни организатором нашего дела, он утверждал, что словом и делом оказывал посильную помощь осуществлению нашего предприятия. Яр코 обрисовывая свое участие, он выгораживал других и своей смертью думал принести пользу своим товарищам. Когда на суде хозяйка квартиры Говорухина старалась уличить Шмидову в знакомстве с Андреюшкиным, Ульянов стал доказывать, что это он, а не Андреюшкин, приносил разные вещи Шмидовой. Даже обер-прокурор Неклюдов заметил на суде: «Вероятно, Ульянов признает себя виновным и в том, чего не делал». Когда я увиделся в первое заседание с Ульяновым на суде (он сидел рядом со мной на первой скамье), то он, пожимая мне руку, сказал: «Если вам что-нибудь будет нужно, говорите на меня»—и я прочел в его глазах бесповоротную решимость умереть... Да, это была светлая, самоотверженная личность!

Канчер приобрел печальную известность в нашем процессе. Не знаю, он ли первый, или Гаркун, выразил раскаяние и начал указывать причастных к делу лиц. Во всяком случае, Канчер знал гораздо больше, дольше исполнял разные поручения и с большим числом революционеров был знаком. Он даже ездил в Вильно с чинами сыскного отделения, чтобы разыскать

те дома, в которых он встречался с революционерами, когда был послан нами в Вильно, так как он не знал ни фамилий, ни адресов членов вильенской группы. И все-таки он не был предателем à la Меркулов. Прижатый на допросе беззастенчивыми сыщиками, он, под угрозой пыток и виселицы, не выдержал и стал выдавать. Насколько могу судить, он показывал не все, что ему было известно; П. Н. Дурново плохо верил в его раскаяние, и как-то в разговоре со мной выразился о Канчере: «О, это хитрый хохол!». Канчер был осужден на 20 лет каторги, перевезен на Сахалин, и здесь угрызения совести заставили его покончить с собою: он принял яд и застрелился. Смерть наступила не сразу, и он еще промучился несколько часов. Гаркун также умер в Восточной Сибири.

Многое я успел за 19 лет перезабыть, в особенности фамилии лиц, с которыми я сталкивался. Живя в Шлиссельбурге, мы умышленно избегали называть по фамилиям лиц, оставшихся на воле, чтобы не повредить им, так как жандармы подслушивали наши разговоры и доносили куда следует. Так, постепенно, прошлое стало заволакиваться туманом, среди которого сохранились только наиболее яркие сцены и эпизоды.